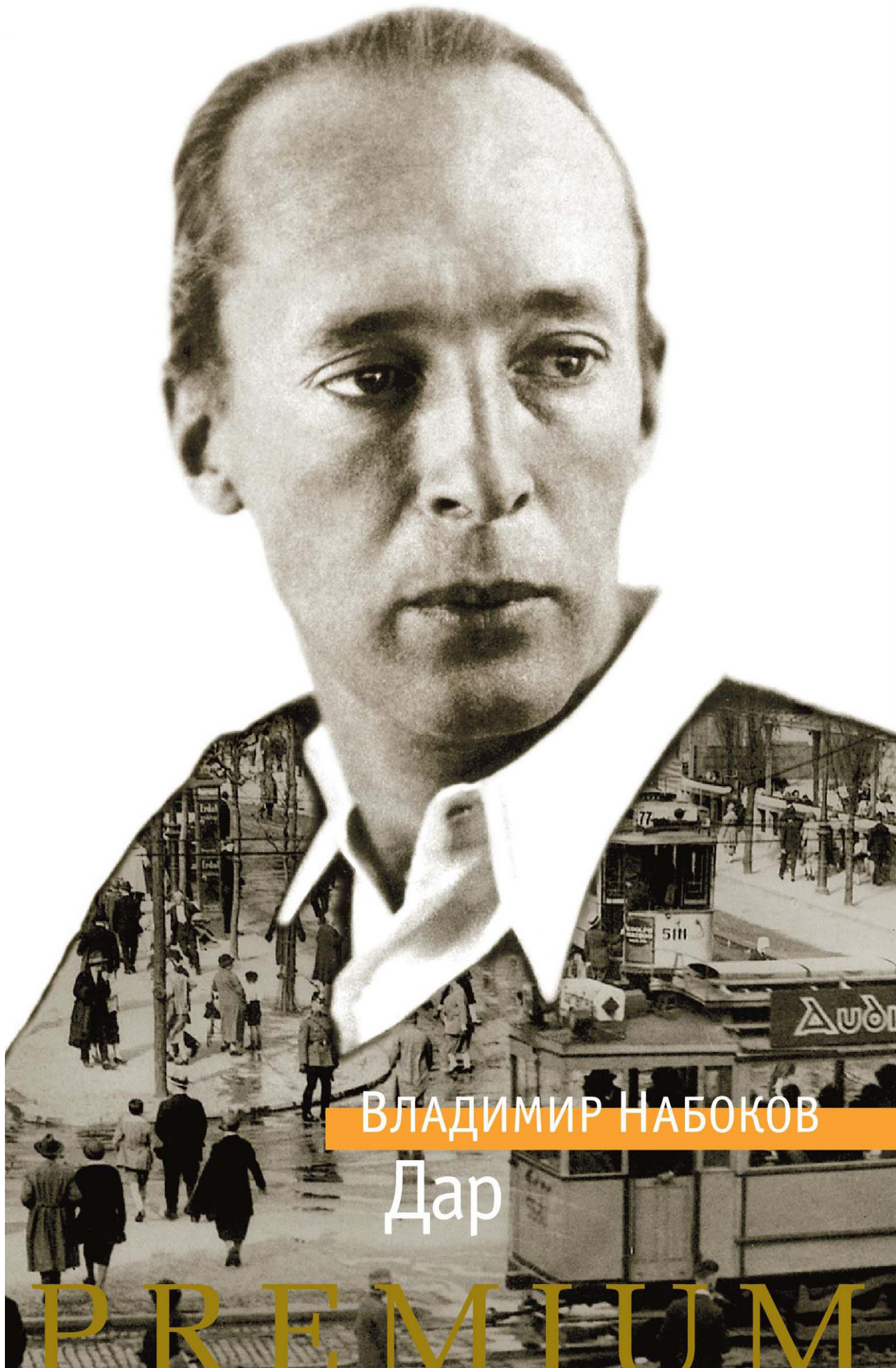




ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Дар

PREMIUM

Азбука Premium

Владимир Набоков

Дар

«Азбука-Аттикус»

1938

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6

Набоков В. В.

Дар / В. В. Набоков — «Азбука-Аттикус», 1938 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-03887-5

«Дар» (1938) – последний русский роман Владимира Набокова, который может быть по праву назван вершиной русскоязычного периода его творчества и одним из шедевров русской литературы XX века. Повествуя о творческом становлении молодого писателя-эмигранта Федора Годунова-Чердынцева, эта глубоко автобиографичная книга касается важнейших набоковских тем: судеб русской словесности, загадки истинного дара, идеи личного бессмертия, достижимого посредством воспоминаний, любви и искусства. В настоящем издании текст романа публикуется вместе с авторским предисловием к его позднему английскому переводу.

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-389-03887-5

© Набоков В. В., 1938
© Азбука-Аттикус, 1938

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	45
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Владимир Набоков

Дар

Памяти моей матери

*Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное. Воробей – птица.
Россия – наше отечество. Смерть неизбежна.*

П. Смирновский

Учебник русской грамматики

Роман, предлагаемый вниманию читателя, писался в начале тридцатых годов и печатался (за выпуском одного эпитета и всей главы IV) в журнале «Современные записки», издававшемся в то время в Париже.

Глава первая

Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192... года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы – в силу оригинальной честности нашей литературы – не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией. На лбу у фургона виднелась звезда вентилятора, а по всему его боку шло название перевозчицкой фирмы синими аршинными литерами, каждая из коих (включая и квадратную точку) была слева оттенена черной краской: недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу измерение. Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков, чем белья), стояли две особы. Мужчина, облаченный в зелено-бурое войлочное пальто, слегка оживляемое ветром, был высокий, густобровый старик с седой в бороде и усах, переходящей в рыжеватость около рта, в котором он бесчувственно держал холодный, полуоблетевший сигарный окурочок. Женщина, коренастая и немолодая, с кривыми ногами и довольно красивым лжекитайским лицом, одета была в каракулевый жакет; ветер, обогнув ее, пахнул неплохими, но затхловатыми духами. Оба, неподвижно и пристально, с таким вниманием, точно их собирались обвесить, наблюдали за тем, как трое красновыпуклых молодцов в синих фартуках одолевали их обстановку.

«Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку», – подумалось мельком с беспечной иронией – совершенно, впрочем, излишнюю, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал. Сам только что переселившись, он в первый раз теперь, в еще непривычном чине здешнего обитателя, выбежал налегке, кое-чего купить. Улицу он знал, как знал весь округ: пансион, откуда он съехал, находился невдалеке; но до сих пор эта улица вращалась и скользила, ничем с ним не связанная, а сегодня остановилась вдруг, уже застывая в виде проекции его нового жилища.

Обсаженная среднего роста липами с каплями дождя, расположенными на их частых черных сучках по схеме будущих листьев (завтра в каждой капле будет по зеленому зрачку), снабженная смоляной гладью саженой в пять шириной и пестроватыми, ручной работы (лестной для ног) тротуарами, она шла с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как эпистолярный роман. Опытным взглядом он искал в ней того, что грозило бы стать ежедневной зацепкой, ежедневной пыткой для чувств, но, кажется, ничего такого не намечалось, а рассеянный свет весеннего серого дня был не только вне подозрения, но еще обещал умягчить иную мелочь, которая в яркую погоду не преминула бы объявиться; все могло быть этой мелочью: цвет дома, например, сразу отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом, а то и халвой; деталь архитектуры, всякий раз экспансивно бросающаяся в глаза; раздражительное притворство кариатиды, приживалки – а не подпоры, – которую и меньшее бремя обратило бы тут же в штукатурный прах; или, на стволе дерева, под ржавой кнопкой, бесцельно и навсегда уцелевший уголок отслужившего, но не до конца содранного рукописного объявления – о расплыве синеватой собаки; или вещь в окне, или запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить, да так на углу и оставшийся – самой за себя заскочившей тайной. Нет, ничего такого не было (еще не было), но хорошо бы, подумал он, как-нибудь на досуге изучить порядок чередования трех-четырех сортов лавок и проверить правильность догадки, что в этом порядке есть свой композиционный закон, так что, найдя наиболее частое сочетание, можно вывести средний ритм для улиц данного города, – скажем: табачная, аптекарская, зеленная. На Танненбергской эти три были разобщены, находясь на разных углах, но, может быть, роение ритма тут еще не настало и

в будущем, повинуюсь контрапункту, они постепенно (по мере прогорания или переезда владельцев) начнут сходиться: зеленая с оглядкой перейдет улицу, чтобы стать через семь, а там через три, от аптекарской, – вроде того, как в рекламной фильме находят свои места смешанные буквы, – причем одна из них напоследок как-то еще переворачивается, поспешно встав на ноги (комический персонаж, непременный Яшка Мешок в строю новобранцев); так и они будут выжидать, когда освободится смежное место, а потом обе наискосок мигнут табачной – сигай сюда, мол; и вот уже все встали в ряд, образуя типическую строку. Боже мой, как я ненавижу все это: лавки, вещи за стеклом, тупое лицо товара и в особенности церемониал сделки, обмен приторными любезностями, до и после! А эти опущенные ресницы скромной цены... благородство уступки... человеколюбие торговой рекламы... все это скверное подражание добру, – странно засасывающее добрых: так, Александра Яковлевна признавалась мне, что когда идет за покупками в знакомые лавки, то нравственно переносится в особый мир, где хмелеет от вина честности, от сладости взаимных услуг, и отвечает на суриковую улыбку продавца улыбкой лучистого восторга.

Род магазина, в который он вошел, достаточно определялся тем, что в углу стоял столик с телефоном, телефонной книжкой, нарциссами в вазе и большой пепельницей. Тех русского окончания папирос, которые он предпочтительно курил, тут не держали, и он бы ушел без всего, не оказись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка. Да, всю жизнь я буду кое-что добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за товар, навязываемый мне.

Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел – с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радуугу или розу, – как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользкий фасад.

Он пошел дальше, направляясь к лавке, но только что виденное, – потому ли, что доставило удовольствие родственного качества, или потому, что встряхнуло, взяв враспloh (как с балки на сеновале падают дети в податливый мрак), – освободило в нем то приятное, что уже несколько дней держалось на темном дне каждой его мысли, овладевая им при малейшем толчке: вышел мой сборник; и когда он, как сейчас, ни с того ни с сего падал так, то есть вспоминал эту полусотню только что вышедших стихотворений, он в один миг мысленно пробежал всю книгу, так что в мгновенном тумане ее безумно ускоренной музыки не различить было читательского смысла мелькавших стихов, – знакомые слова проносились, крутятся в стремительной пене (кипение сменявшейся на мощный бег, если привязаться к ней взглядом, как делывали мы когда-то, смотря на нее с дрожавшего моста водяной мельницы, пока мост не обращался в корабельную корму: прощай!), – и эта пена, и мелькание, и отдельно пробегавшая строка, дико блаженно кричавшая издали, звавшая, вероятно, домой, – все это вместе со сливочной белизной обложки сливалось в ощущение счастья исключительной чистоты... «Что я, собственно, делаю!» – спохватился он, ибо сдачу, полученную только что в табачной, первым делом теперь высыпал на резиновый островок посреди стеклянного прилавка, сквозь который снизу просвечивало подводное золото плоских флаконов, между тем как снисходительный к его причуде взгляд приказчицы с любопытством направлялся на эту рассеянную руку, платившую за предмет, еще даже не названный.

«Дайте мне, пожалуйста, миндального мыла», – сказал он с достоинством.

Затем, все тем же взлетающим шагом, он воротился к дому. Там, на панели, не было сейчас никого, ежели не считать трех васильковых стульев, сдвинутых, казалось, детьми. Внутри же фургона лежало небольшое коричневое пианино, так связанное, чтобы оно не могло встать со спины, и поднявшее вверх две маленьких металлических подошвы. На лестнице он встре-

тил валивших вниз, коленями врозь, грузчиков, а пока звонил у двери новой квартиры, слышал, как наверху переговариваются голоса, стучит молоток. Впустив его, квартирохозяйка сказала, что положила ключи к нему в комнату. У этой крупной, хищной немки было странное имя; мнимое подобие творительного падежа придавало ему звук сентиментального заверения: ее звали Clara Stoboy.

А вот продолговатая комната, где стоит терпеливый чемодан... и тут разом все переменялось: не дай Бог кому-либо знать эту ужасную унижительную скуку, – очередной отказ принять гнусный гнет очередного новоселья, невозможность жить на глазах у совершенно чужих вещей, неизбежность бессонницы на этой кушетке!

Некоторое время он стоял у окна: небо было простоквашей; изредка в том месте, где плыло слепое солнце, появлялись опаловые ямы, и тогда внизу, на серой кругловатой крыше фургона, страшно скоро стремились к бытию, но, недоволоптившись, растворялись тонкие тени липовых ветвей. Дом насупротив был наполовину в лесах, а по здоровой части кирпичного фасада оброс плющом, лезшим в окна. В глубине прохода, разделявшего палисадник, чернелась вывеска подвальной угольни.

Само по себе все это было видом, как и комната была сама по себе; но нашелся посредник, и теперь этот вид становился видом из этой именно комнаты. Прозревши, она лучше не стала. Палевые в сизых тюльпанах обои будет трудно претворить в степную даль. Пустыню письменного стола придется возделывать долго, прежде чем взойдут на ней первые строки. И долго надобно будет сыпать пепел под кресло и в его пахи, чтобы сделалось оно пригодным для путешествий.

Хозяйка пришла звать его к телефону, и он, вежливо сутулясь, последовал за ней в столовую. «Во-первых, – сказал Александр Яковлевич, – почему это, милостивый государь, у вас в пансионе так неохотно сообщают ваш новый номер? Выехали, небось, с треском? А во-вторых, хочу вас поздравить... Как – вы еще не знаете? Честное слово?» («Он еще ничего не знает», – обратился Александр Яковлевич другой стороной голоса к кому-то вне телефона.) «Ну, в таком случае возьмите себя в руки и слушайте, я буду читать: „Только что вышедшая книга стихов до сих пор неизвестного автора, Федора Годунова-Чердынцева, кажется нам явлением столь ярким, поэтический талант автора столь несомненен...“ Знаете что, оборвем на этом, а вы приходите вечером к нам, тогда получите всю статью. Нет, Федор Константинович, дорогой, сейчас ничего не скажу, ни где, ни что, – а если хотите знать, что я сам думаю, то не обижайтесь, но он вас перехваливает. Значит, придете? Отлично. Будем ждать».

Вешая трубку, он едва не сбил со столика стальной жгут с карандашом на привязи; хотел его удержать, но тут-то и смахнул; потом въехал бедром в угол буфета; потом выронил папиросу, которую на ходу тащил из пачки; и наконец, зазвенел дверью, не рассчитав размаха, так что проходившая по коридору с блюдцем молока фрау Стобой холодно произнесла: «упс!». Ему захотелось сказать ей, что ее палевое в сизых тюльпанах платье прекрасно, что пробор в гофрированных волосах и дрожащие мешки щек сообщают ей нечто жорж-сандово-царственное; что ее столовая – верх совершенства; но он ограничился сияющей улыбкой и чуть не упал на тигровые полосы, не поспевшие за отскочившим котом, но в конце концов он никогда и не сомневался, что так будет, что мир, в лице нескольких сот любителей литературы, покинувших Петербург, Москву, Киев, немедленно оценит его дар.

Перед нами небольшая книжка, озаглавленная «Стихи» (простая фрачная ливрея, ставшая за последние годы такой же обязательной, как недавние галуны – от «лунных грез» до символической латыни), содержащая около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме – детству. При набожном их сочинении автор, с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой, он дозволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая

изысканность. Одновременно ему приходилось делать большие усилия, как для того, чтобы не утратить руководства игрой, так и для того, чтобы не выйти из состояния игральщика. Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак прозрачной прозы – вот определения, кажушиеся нам достаточно верными для характеристики творчества молодого поэта. Так, запершись на ключ и достав свою книгу, он упал с ней на диван, – надо было перечесть ее тотчас, пока не остыло волнение, дабы заодно проверить доброкачественность этих стихов и предугадать все подробности высокой оценки, им данной умным, милым, еще неизвестным судьей. И теперь, пробуя и апробируя их, он совершал работу, как раз обратную давешней, когда мгновенной мыслью пробегал книгу. Теперь он читал как бы в кубе, выхаживая каждый стих, приподнятый и со всех четырех сторон обвеваемый чудным, рыхлым деревенским воздухом, после которого так устаешь к ночи. Другими словами, он, читая, вновь пользовался всеми материалами, уже однажды собранными памятью для извлечения из них данных стихов, и все, все восстанавливал, как возвратившийся путешественник видит в глазах у сироты не только улыбку ее матери, которую в юности знал, но еще аллею с желтым просветом в конце, и карий лист на скамейке, и всё, всё. Сборник открывался стихотворением «Пропавший Мяч», – и начинал накрапывать дождик. Тяжелый облачный вечер, один из тех, которые так к лицу нашим северным елям, сгустился вокруг дома. Аллея на ночь возвратилась из парка, и выход затянулся мглой. Вот створы белых ставней отделили комнату от внешней темноты, куда уже было переправились, пробно расположившись на разных высотах в беспомощно черном саду, наиболее светлые части комнатных предметов. Теперь недолго до сна. Игры становятся вялыми и не совсем добрыми. Она стара и мучительно кряхтит, когда в три медленных приема опускается на колени.

Мяч закатился мой под нянин
 комод, и на полу свеча
 тень за концы берет и тянет
 туда, сюда, – но нет мяча.
 Потом там кочерга кривая
 гуляет и грохочет зря —
 и пуговицу выбивает,
 а погода полсухаря.
 Но вот выскакивает сам он
 в трепещущую темноту, —
 через всю комнату, и прямо
 под неприступную тахту.

Почему мне не очень по нутру эпитет «трепещущую»? Или тут колоссальная рука пуппмейстера вдруг появилась на миг среди существ, в рост которых успел уверовать глаз (так что первое ощущение зрителя по окончании спектакля: как я ужасно вырос)? А ведь комната действительно трепетала, и это мигание, карусельное передвижение теней по стене, когда уносится огонь, или чудовищно движущий горбами теневой верблюд на потолке, когда няня борется с увалистой и валкой камышовой ширмой (растяжимость которой обратно пропорциональна ее устойчивости), – все это самые ранние, самые близкие к подлиннику из всех воспоминаний. Я часто склоняюсь пытливой мыслью к этому подлиннику, а именно – в обратное ничто; так, туманное состояние младенца мне всегда кажется медленным выздоровлением после страшной болезни, удалением от изначального небытия, – становящимся приближением к нему, когда я напрягаю память до последней крайности, чтобы вкусить этой тьмы и воспользоваться ее уроками ко вступлению во тьму будущую; но, ставя жизнь свою вверх ногами, так что рождение мое делается смертью, я не вижу на краю этого обратного умирания ничего такого, что соот-

ветствовало бы беспредельному ужасу, который, говорят, испытывает даже столетний старик перед положительной кончиной, – ничего, кроме разве упомянутых теней, которые, поднявшись откуда-то снизу, когда снимается, чтобы уйти, свеча (причем, как черная, растущая на ходу голова, проносится тень левого шара с постельного изножья), всегда занимают одни и те же места над моей детской кроватью

и по углам наглеют ночью,
своим законным образцам
лишь подражая между прочим.

В целом ряде подкупающих искренностью... нет, вздор, кого подкупаешь? кто этот продажный читатель? не надо его. В целом ряде отличных... или даже больше: замечательных стихотворений автор воспеваает не только эти пугающие тени, но и светлые моменты. Вздор, говорю я, вздор! Он иначе пишет, мой безымянный, мой безвестный ценитель, – и только для него я переложил в стихи память о двух дорогих, старинных, кажется, игрушках: первая представляла собой толстый расписной горшок с искусственным растением теплых стран, на котором сидело удивительно вспорхливое на вид чучело тропической птички, оперения черного, с аметистовой грудкой, и когда большой ключ, выпрошенный у Ивонны Ивановны и заправленный в стенку горшка, несколько раз туго и животворно поворачивался, маленький малайский соловей раскрывал... нет, он даже и клюва не раскрывал, ибо случилось что-то странное с заводом, с какой-то пружиной, действовавшей, однако же, впрок: птица отказывалась петь, но если забыть про нее и через неделю случайно пройти мимо ее высокого шкапа, то от таинственного сотрясения вдруг рождалось ее волшебное щелканье, – и как дивно, как длительно заливалась она, выпятив растрепанную грудку; кончит, ступишь, уходя, на другую половицу, и напоследок, отдельно, она еще раз свистнет и на полуноче замрет. Схожим образом, но с шутовской тенью подражания – как пародия всегда сопутствует истинной поэзии, – вела себя вторая из воспетых игрушек, находившаяся в другой комнате, тоже на высокой полке. Это был клоун в атласных шароварах, опиравшийся руками на два белых бруска и вдруг от нечаянного толчка приходивший в движение

при музыке миниатюрной
с произношением смешным,

позванивавшей где-то под его подмостками, пока он поднимал едва заметными толчками выше и выше ноги в белых чулках, с помпонами на туфлях, – и внезапно все обрывалось, он угловато застывал. Не так ли мои стихи... Но правда сопоставлений и выводов иногда сохраняется лучше по сю сторону слов.

Постепенно из накаплиющихся пьесок складывается образ крайне восприимчивого мальчика, жившего в обстановке крайне благоприятной. Наш поэт родился двенадцатого июля 1900 года в родовом имении Годуновых-Чердынцевых Лешино. Мальчик еще до поступления в школу перечел немало книг из библиотеки отца. В своих интересных записках такой-то вспоминает, как маленький Федя с сестрой, старше его на два года, увлекались детским театром и даже сами сочиняли для своих представлений... Любезный мой, это ложь. Я был всегда равнодушен к театру; но, впрочем, помню, были какие-то у нас картонные деревца и зубчатый дворец с окошками из малиновокисельной бумаги, просвечивавшей верещагинским полымем, когда внутри зажигалась свеча, от которой, не без нашего участия, в конце концов и сгорело все здание. О, мы с Таней были привередливы, когда дело касалось игрушек! Со стороны, от дарителей равнодушных, к нам часто поступали совершенно убогие вещи. Все, что являло собой плоскую картонку с рисунком на крышке, предвещало недоброе. Такой одной крышке я посвя-

тил было условленных три строфы, но стихотворение как-то не встало. За круглым столом при свете лампы семейка: мальчик в невозможной, с красным галстуком, матроске, девочка в красных зашнурованных сапожках; оба с выражением чувственного упоения нанизывают на соломинки разноцветные бусы, делая из них корзиночки, клетки, коробки; и с увлечением неменьшим в этом же занятии участвуют их полоумные родители – отец с премированной растительностью на довольном лице, мать с державным бюстом; собака тоже смотрит на стол, а на заднем плане видна в креслах завистливая бабушка. Эти именно дети ныне выросли, и я часто встречаю их на рекламах: он, с блеском на маслянисто-загорелых щеках, сладострастно затягивается папиросой или держит в богатырской руке, плотоядно осклабясь, бутерброд с чем-то красным («ешьте больше мяса!»), она улыбается собственному чулку на ноге или с развратной радостью обливает искусственными сливками консервированный компот; и со временем они обратятся в бодрых, румяных, обжорливых стариков, – а там и черная inferнальная красота дубовых гробов среди пальм в витрине... Так развивается бок о бок с нами, в зловеще-веселом соответствии с нашим бытием, мир прекрасных демонов; но в прекрасном демоне есть всегда тайный изъян, стыдная бородавка на зад у подобия совершенства: лакированным лакомкам реклам, объедающимся желатином, не зная тихих отряд гастронома, а моды их (медлящие на стене, пока мы проходим мимо) всегда чуть-чуть отстают от действительных. Я еще когда-нибудь поговорю об этом возмездии, которое как раз там находит слабое место для удара, где, казалось, весь смысл и сила поражаемого существа.

Вообще смирным играм мы с Таней предпочитали потные – беготню, прятки, сражения. Как удивительно такие слова, как «сражение» и «ружейный», передают звук нажима при вдвигании в ружье крашеной палочки (лишенной, для пущей язвительности, гуттаперчевой присоски), которая затем, с треском попадая в золотую жесть кирасы (следует представить себе помесь кирасира и краснокожего), производила почетную выбоинку.

И снова заряжаешь ствол
до дна, со скрежетом пружинным
в упругий вдавливая пол,
и видишь, притаясь за дверью,
как в зеркале стоит другой —
и дыбом радужные перья
из-за повязки головной.

Автору приходилось прятаться (речь теперь будет идти об особняке Годуновых-Чердынцевых на Английской Набережной, существующем и поныне) в портьерах, под столами, за спинными подушками шелковых оттоманок – и в платяном шкапу, где под ногами хрустел нафталин и откуда можно было в щель незримо наблюдать за медленно проходившим слугой, становившимся до странности новым, одушевленным, вздыхающим, чайным, яблочным; а также

под лестницею винтовой
и за буфетом одиноким,
забытым в комнате пустой, —

на пыльных полках которого прозябали: ожерелье из волчьих зубов, алматолитовый божок с голым пузом, другой фарфоровый, высовывающий в знак национального приветствия черный язык, шахматы с верблюдами вместо слонов, членистый деревянный дракон, сойотская табакерка из молочного стекла, другая агатовая, шаманский бубен, к нему заячья лапка, сапог из кожи маралых ног со стелькой из коры лазурной жимолости, тибетская мечевидная

денежка, чашечка из кэрийского нефрита, серебряная брошка с бирюзой, лампада ламы, – и еще много тому подобного хлама, который – как пыль, как с немецких вод перламутровый Gruss¹ – мой отец, не терпя этнографии, случайно привозил из своих баснословных путешествий. Зато заперты на ключ три залы, где находились его коллекции, его музей... но об этом в стихах перед нами нет ничего: особым чутьем молодой автор предвидел, что когда-нибудь ему придется говорить совсем иначе, не стихами с брелоками и репетицией, а совсем, совсем другими, мужественными словами о своем знаменитом отце.

Опять что-то испортилось, и доносится фамильярно-фальшивый голосок рецензента (может быть, даже женского пола). Поэт с мягкой любовью вспоминает комнаты родного дома, где оно протекало. Он сумел влить много лирики в поэтическую опись вещей, среди которых протекало оно. Когда прислушиваешься... Мы все, чутко и бережно... Мелодия прошлого... Так, например, он отображает абажуры ламп, литографии на стенах, свою парту, посещение полотеров (оставляющих после себя составной дух из «мороза, пота и мастики») и проверку часов:

По четвергам старик приходит,
учтивый, от часовщика,
и в доме все часы заводит
неторопливая рука.
Он на свои украдкой взглянет
и переставит у стенных.
На стуле, стоя, ждать он станет,
чтоб вышел полностью из них
весь полдень. И, благополучно
окончив свой приятный труд,
на место ставит стул беззвучно,
и, чуть ворча, часы идут.

Щелкая языком иногда и странно переводя дух перед боем. Их таканье, как попе-речно-полосатая лента сантиметра, без конца мерило мои бессонницы. Мне было так же трудно уснуть, как чихнуть без гусара или покончить с собой собственными средствами (проглотив язык, что ли). В начале мученической ночи я еще пробавлялся тем, что переговаривался с Таней, кровать которой стояла в соседней комнате; дверь мы приоткрывали, несмотря на запрет, и потом, когда гувернантка приходила в свою спальню, смежную с Таниной, один из нас дверь легонько затворял: мгновенный пробег босиком и скок в постель. Из комнаты в комнату мы долго задавали друг другу шарады, замолкая (до сих пор слышу тон этого двойного молчания в темноте): она – для разгадки моей, я – для придумывания новой. Мои были всегда попричудливее да поглупее, Таня же придерживалась классических образов:

mon premier est un métal précieux,
mon second est un habitant des cieux,
et mon tout est un fruit délicieux².

Иногда она засыпала, пока я доверчиво ждал, думая, что она бьется над моей загадкой, и ни мольбами, ни бранью мне уже не удавалось ее воскресить. С час после этого я путешествовал в потемках постели, накидывая на себя простыню и одеяло сводом, так чтобы получилась

¹ Привет (нем.).

² Мой первый [слог] – драгоценный металл, мой второй [слог] – обитатель небес, а целое – восхитительный фрукт (фр.).

пещера, в далеком, далеком выходе которой пробивался сторонкой синеватый свет, ничего общего не имевший с комнатой, с невской ночью, с пышными, полупрозрачными опадениями темных штор. Пещера, которую я исследовал, содержала в складках своих и провалах такую томную действительность, наполнилась такой душевной и таинственной мерой, что у меня как глухой барабан начинало стучать в груди, в ушах; и там, в глубине, где отец мой нашел новый вид летучей мыши, я различал скульптуры идола, высеченного в скале, а когда наконец забывался, то меня десяток рук опрокидывали, и кто-то с ужасным шелковым треском распарывал меня сверху донизу, после чего проворная ладонь проникала в меня и сильно сжимала сердце. А не то я бывал обращен в кричащую монгольским голосом лошадь: камы посредством арканов меня раздирали за бабки, так что ноги мои, с хрустом ломаясь, ложились под прямым углом к туловищу, грудью прижатому к желтой земле, и, знаменуя крайнюю муку, хвост стоял султаном; он опадал, я просыпался.

Пожалуйста вставать. Гуляет
по зеркалам печным ладонь
истопника: определяет,
дорос ли до верху огонь.
Дорос. И жаркому гуденью
день отвечает тишиной,
лазурью с розовой тенью
и совершенной белизной.

Странно, каким восковым становится воспоминание, как подозрительно хорошеет херувим по мере того, как темнеет оклад, – странное, странное происходит с памятью. Я выехал семь лет тому назад; чужая сторона утратила дух заграничности, как своя перестала быть географической привычкой. Год Семь. Бродячим призраком государства было сразу принято это летоисчисление, сходное с тем, которое некогда ввел французский ражий гражданин в честь новорожденной свободы. Но счет растет, и честь не тешит; воспоминание либо тает, либо приобретает мертвый лоск, так что взамен дивных привидений нам остается веер цветных открыток. Этому не поможет никакая поэзия, никакой стереоскоп, лупоглазо и грозно-молчаливо придающий такую выпуклость куполу и таким бесовским подобием пространства обмывающий гуляющих с карлсбадскими кружками лиц, что пуще рассказов о камлании меня мучили сны после этого оптического развлечения: аппарат стоял в приемной дантиста, американца Lawson, сожительница которого Mme Ducamp, седая гарпия, за своим письменным столом среди флаконов кроваво-красного Лоусоновского эликсира, поджимая губы и скребя в волосах, суетливо прикидывала, куда бы вписать нас с Таней, и наконец, с усилием и скрипом, пропихивала плюющееся перо промеж la Princesse Toumanoff с кляксой в конце и Monsieur Danzas с кляксой в начале. Вот описание поездки к этому дантисту, предупредившему накануне, что that one will have to come out...³

Как буду в этой же карете
чрез полчаса опять сидеть?
Как буду на снежинки эти
и ветви черные глядеть?
Как тумбу эту в шапке ватной
глазами провожу опять?
Как буду на пути обратном

³ Вот тот [зуб] придется удалить... (англ.)

мой путь туда припоминать?
(Нащупывая поминутно
с брезгливой нежностью платок,
в который бережно закутан
как будто костяной брелок.)

«Ватная шапка» – будучи к тому же и двусмыслицей, совсем не выражает того, что требовалось: имелся в виду снег, нахлобученный на тумбы, соединенные цепью где-то поблизости памятника Петра. Где-то! Боже мой, я **уже** с трудом собираю части прошлого, **уже** забываю соотношение и связь еще в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание. Какая тогда оскорбительная насмешка в самоуверении, что

так впечатление былое
во льду гармонии живет...

Что же понуждает меня слагать стихи о детстве, если все равно пишу зря, промахиваясь словесно или же убивая и барса и лань разрывной пулей «верного» эпитета? Но не будем отчаиваться. Он говорит, что я настоящий поэт, – значит, стоило выходить на охоту.

Вот еще двенадцатистишие о том, что мучило мальчика, – о терниях городской зимы; как например: когда чулки шерстят в поджилках, или когда на руку, положенную на плаху прилавка, приказчица натягивает тебе невозможно плоскую перчатку. Упомянем далее: двойной (первый раз соскочило) щипок крючка, когда тебе, расставившему руки, застегивают меховой воротник; зато какая занимательная перемена акустики, емкость звука, когда воротник поднят; и если мы уже коснулись ушей: как незабвенна музыка шелковой тугости при завязывании (подними подбородок) ленточек шапочных наушников.

Весело ребятам бегать на морозце. У входа в оснеженный (ударение на втором слоге) сад – явление: продавец воздушных шаров. Над ним, втрое больше него, – огромная шуршащая гроздь. Смотрите, дети, как они переливаются и трутся, полные красного, синего, зеленого солнышка Божьего. Красота! Я хочу, дяденька, самый большой (белый, с петухом на боку, с красным детенышем, плавающим внутри, который, по убиении матки, уйдет к потолку, а через день спустится, сморщенный и совсем ручной). Вот счастливые ребята купили шар за целый, и добрый торговец вытянул его из теснящейся стаи. Погоди, пострел, не хватай, дай отрезать. После чего он снова надел рукавицы, проверил, ладно ли стянут веревкой с ножницами, и, оттолкнувшись пяткой, тихо начал подниматься стояком в голубое небо, все выше и выше, вот уж гроздь его не более виноградной, а под ним – дымы, позолота, иней Санкт-Петербурга, реставрированного, увы, там и сям по лучшим картинам художников наших.

Но без шуток: было очень красиво, очень тихо. Деревья в саду изображали собственные призраки, и получалось это бесконечно талантливо. Мы с Таней издевались над салазками сверстников, особенно если были они крытые ковровой материей с висячей бахромой, высоким сиденьем (снабженным даже грядкой) и вожжиками, за которые седок держался, тормозя валенками. Такие никогда не дотягивали до конечного сугроба, а, почти сразу выйдя из прямого бега, беспомощно крутились вокруг своей оси, продолжая спускаться, с бледным серьезным ребенком, принужденным по замирании их, толчками собственных ступней, сидя, подвигаться вперед, чтобы достигнуть конца ледяной дорожки. У меня и у Тани были увесистые брюшные санки от Сангалли: прямоугольная бархатная подушка на чугунных полозьях скобками. Их не надо было тащить за собой, они шли с такой нетерпеливой легкостью по зря усыпанному песком снегу, что ударялись сзади в ноги. Вот горка.

Влезть на помост, облитый блеском... —

(взнашивая ведра, чтобы скат **обливать**, воду расплескивали, так что ступени обросли корою **блестящего** льда, но все это не успела объяснить благонамеренная аллитерация).

Влезть на помост, облитый блеском,
упасть с размаху животом
на санки плоские – и с треском
по голубому... А потом, —
когда меняется картина
и в детской сумрачно горит
рождественская скарлатина
или пасхальный дифтерит, —
съезжать по блещущему ломко,
преувеличенному льду
в полутропическом каком-то,
полутаврическом саду... —

куда из нашего Александровского, волею горячечной мечты, перекочевывал вместе со своим каменным верблюдом генерал Николай Михайлович Пржевальский, тут же превращающийся в статую моего отца, который в это время находился где-нибудь, скажем, между Кокан-дом и Асхабадом – или на склонах Сининских Альп. Как мы с Таней болели! То вместе, то по очереди; и как мне страшно бывало услышать между вдаль стукнувшей и другою, сдержанно тихую, дверьми ее прорвавшийся шаг и высокий смех, звучавший небесным ко мне равнодушием, райским здоровьем, бесконечно далеким от моего толстого, начиненного желтой клеенкой компресса, ноющих ног, плотской тяжести и связанности, – но если хворала она, каким земным и здешним, каким футбольным мячом, чувствовал себя я, глядя на нее, лежащую в постели, отсутствующую, обращенную к потустороннему, а вялой изнанкой ко мне! Опишем: последнюю попытку обороны перед капитуляцией, когда, еще не выйдя из течения дня, скрывая от самого себя жар, ломоту и по-мексикански запахиваясь, маскируешь притязания озноба под видом требований игры, а через полчаса, сдавшись и попав в постель, тело уже не верит, что вот только что играло, ползало по полу залы, по ковру, пока врем. Опишем: вопросительно тревожную улыбку матери, только что поставившей мне градусник (чего она не доверяла ни дядьке, ни гувернантке). «Что же ты так окапутился?» – говорит она, еще пробуя шутить. А через минуту: «Я уже вчера знала, что у тебя жар, меня не обманешь». А еще через минуту: «Сколько, думаешь, у тебя?» И наконец: «Мне кажется, можно вынуть». Она подносит раскаленный градусник к свету и, сдвинув очаровательные котиковые брови, которые унаследовала и Таня, долго смотрит... и потом, ничего не сказав, медленно отряхнув градусник и вкладывая его в футляр, глядит на меня, словно не совсем узнает, а отец, задумавшись, едет шагом по весенней, сплошь голубой от ирисов, равнине; опишем и бредовое состояние, когда растут, распирая мозг, какие-то великие числа, сопровождаемые непрекращающейся, словно постоянной, скороговоркой, как если бы в темном саду при сумасшедшем доме задачника, наполовину (точнее – на пятьдесят семь сто одиннадцатых) выйдя из мира, отданного в рост, – ужасного мира, который они обречены представлять в лицах, – торговка яблоками, четыре землекопа и Некто, завещавший детям караван дробей, беседовали под ночной шумок деревьев о чем-нибудь крайне домашнем и глупом, но тем более страшном, тем более неминуемо оказывавшемся вдруг как раз этими числами, этой безудержно расширяющейся вселенной (что, для меня, проливает странный свет на макрокосмические домыслы нынешних физиков). Опишем и выздоровление, когда уже ртуть не стоит спускать, и градусник оставляется небрежно лежать

на столе, где толпа книг, пришедших поздравить, и несколько просто любопытных игрушек вытесняют полупустые склянки мутных микстур.

Бювар с бумагою почтовой
всего мне видится ясней;
она украшена подковой
и монограммою моею.
Уж знал я толк в инициалах,
печатках, сплюснутых цветках
от девочки из Ниццы, алых
и бронзоватых сургучах.

В стихи не попал удивительный случай, бывший со мной после одного особенно тяжелого воспаления легких. Когда все перешли в гостиную, один из мужчин, весь вечер молчавший... Жар ночью схлынул, я выбрался на сушу. Был я, доложу я вам, слаб, капризен и прозрачен – прозрачен, как хрустальное яйцо. Мать поехала мне покупать... что – я не знал – одну из тех чудаковатых вещей, на которые время от времени я зарился с жадностью брюхатой женщины, – после чего совершенно о них забывал, – но мать записывала эти *desiderata*⁴. Лежа в постели пластом среди синеватых слоев комнатных сумерек, я лелеял в себе невероятную ясность, как случается, что между сумеречных туч длится дальняя полоса лучезарно-бледного неба, и там видны как бы мыс и мели Бог знает каких далеких островов, – и кажется, что, если еще немножко отпустить вдаль свое легкое око, различишь блестящую лодку, втянутую на влажный песок, и уходящие следы шагов, полные яркой воды. Полагаю, что в ту минуту я достиг высшего предела человеческого здоровья: мысль моя омылась, окунувшись недавно в опасную, не по-земному чистую черноту; и вот, лежа неподвижно и даже не жмурясь, я мысленно вижу, как моя мать, в шеншилях и вуали с мушками, садится в сани (всегда кажущиеся такими маленькими по сравнению со стеатопигией русского кучера того времени), как мчит ее, прижавшую сизо-пушистую муфту к лицу, воронья пара под синей сеткой. Улица за улицей разворачивается без всякого моего усилия; комья кофейного снега бьют в передок. Вот сани остановились. Выездной Василий соскальзывает с запяток, одновременно отстегивая медвежью полость, и моя мать быстро идет к магазину, название и выставку которого я не успеваю рассмотреть, так как в это мгновение проходит и окликает ее (но она уже скрылась) мой дядя, а ее брат, и на протяжении нескольких шагов я невольно сопутствую ему, стараясь взглянуть в лицо господина, с которым он, удаляясь, беседует, но, спохватившись, я поворачиваю обратно и поспешно втекаю в магазин, где мать уже платит десять рублей за совершенно обыкновенный, зеленый фаберовский карандаш, который бережно заворачивается в коричневую бумагу двумя приказчиками и передается Василию, вот уже несущему его за моей матерью в сани, вот уже мчащиеся по таким-то и таким-то улицам назад к нашему дому, вот уже приближающемуся к ним; но тут хрустальное течение моего ясновидения прервалось тем, что Ивонна Ивановна принесла мне чашку бульона с гренками: я так был слаб, что мне понадобилась ее помощь, чтобы присесть на постели, она дала тумак подушке и установила передо мной поперек живого одеяла постельный столик на карликовых ножках (с извечно липким уездом у юго-западного угла). Вдруг растворилась дверь, вошла мать, улыбаясь и держа, как бердыш, длинный коричневый сверток. В нем оказался фаберовский карандаш в полтора аршина длины и сообразно толстый: рекламный гигант, горизонтально висевший в витрине и возбудивший как-то мою взбалмошную алчность. Должно быть, я находился еще в блаженном состоянии, когда любая странность, как полубог, сходит к нам, чтобы неузнанной смешаться с воскресной тол-

⁴ Пожелания (лат.).

пой, ибо в ту минуту я вовсе не поразился случившемуся со мной, а только вскользь про себя отметил, как ошибся насчет величины предмета; но потом, окрепнув, хлебом залепив щели, я с суеверным страданием раздумывал над моим припадком прозрения (никогда, впрочем, не повторившимся), которого я так стыдился, что скрыл его даже от Тани, – и едва ли не расплакался от смущения, когда нам попался навстречу, чуть ли не в первый мой выход, дальний родственник матери, некто Гайдуков, который тут-то и сказал ей: «А мы с вашим братцем недавно видели вас около Треймана».

Между тем воздух стихов потеплел, и мы собираемся назад в деревню, куда до моего поступления в школу (а поступил я только двенадцати лет) мы переезжали иногда уже в апреле.

В канавы скрылся снег со склонов,
и петербургская весна
волнения и анемонов
и первых бабочек полна.
Но мне не надо прошлогдних,
увядших за зиму ванесс,
лимонниц никуда не годных,
летающих сквозь прозрачный лес.
Зато уж высмотрю четыре
прелестных газовых крыла
нежнейшей пяденицы в мире
среди пятен белого ствола.

Это любимое стихотворение самого автора, но он не включил его в сборник, потому, опять же, что тема связана с темой отца, а экономия творчества советовала не трогать ее до поры до времени. Вместо нее воспроизведены такие весенние впечатления, как первое чувство сразу по выходе со станции: мягкость земли, ее близость к ступне, а вокруг головы – ничем не стесненное течение воздуха. Наперебой, яростно расточая приглашения, вставая с козел, взмахивая свободной рукой, мешая галдеж с нарочитым тпруканием, извозчики зазывали ранних дачников. Поодаль нас ожидал открытый автомобиль, пунцовый снутри и снаружи: идея скорости уже дала наклон его рулю (меня поймут приморские деревья), однако общая его внешность еще хранила – из ложного приличия, что ли, – подобострастную связь с формой коляски, но если это и была попытка мимикрии, то она совершенно уничтожалась грохотанием мотора при открытом глушителе, столь зверским, что задолго до нашего появления мужик на встречной телеге спрыгивал с нее и поворачивал лошадь – после чего, бывало, вся компания немедленно оказывается в канаве, а то и в поле – где, через минуту, уже забыв нас и нашу пыль, опять собирается свежая нежная тишина с мельчайшим отверствием для пения жаворонка.

Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением, несмотря на идиотскую вещественность изоляторов, я еще выйду с той станции и, без видимых спутников, пешком пройду стезжкой вдоль шоссе с десятков верст до Лешина. Один за другим телеграфные столбы будут гудеть при моем приближении. На валун сядет ворона – сядет, оправит сложившееся не так крыло. Погода будет, вероятно, серенькая. Изменения в облике окрестности, которые я не могу представить себе, и старейшие приметы, которые я почему-то забыл, будут встречать меня попеременно, даже смешиваясь иногда. Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стоны, в тон столбам. Когда дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то и то-то – или же, вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, не увижу ни того, ни этого (но все-таки кое-что, бесконечно и непоко-

лебимо верное мне, разгляжу – хотя бы потому, что глаза у меня все-таки сделаны из того же, что тамошняя серость, светлость, сырость), то, после всех волнений, я испытаю какую-то удовлетворенность страдания – на перевале, быть может, к счастью, о котором мне знать рано (только и знаю, что оно будет с пером в руке). Но одного я наверняка не застаю – того, из-за чего, в сущности, стоило городить огород изгнания: детства моего и плодов моего детства. Его плоды – вот они, – сегодня, здесь, – уже созревшие; оно же само ушло в даль, почище северно-русской.

Автор нашел верные слова для изображения ощущения при переходе в деревенскую обстановку. Как весело, говорит он, что:

ни шапки надевать не надо,
ни легких башмаков менять,
чтоб на песок кирпичный сада
весною выбежать опять.

К этому в десять лет прибавилось новое развлечение. Он еще в городе въехал ко мне, и сначала я его долго водил за рога из комнаты в комнату, и с какой застенчивой грацией он шел по паркету, пока не накололся на кнопку! По сравнению с трехколесным, детским, дребезжащим и жалким, который по узости ободков увязал даже в песке садовой площадки, новый обладал божественной легкостью передвижения. Это поэт хорошо выразил в следующих стихах:

О, первого велосипеда
великолепье, высота;
на раме «Дукс» или «Победа»;
надутой шины тишина.
Дрожанье и вилы в аллее,
где блики по рукам скользят,
где насыпи кротов чернеют
и низвержением грозят.
А завтра пролетаешь через,
и, как во сне, поддержки нет,
и, этой простоте доверяясь,
не падает велосипед.

А послезавтра неизбежно начинается мечта о «свободной передаче», – сочетание слов, которое я до сих пор слышать не могу без того, чтоб не замелькала под едва уловимый резиновый шелест и легчайшее лепетание спиц полоса полого бегущей, гладкой, липкой земли.

Катанье на велосипеде и на лодке, верховая езда, игра в лоун-теннис и в городки, «крокет, купанье, пикники», заманчивость мельницы и сенника, – этим в общих чертах исчерпываются темы, волнующие нашего автора. Что же можно сказать о формальной стороне его стихотворений? Это, конечно, миниатюры, но сделанные с тем феноменально тонким мастерством, при котором отчетлив каждый волосок, не потому что все выписано чересчур разборчивой кистью, а потому что присутствие мельчайших черт невольно читателю внушено порядочностью и надежностью таланта, ручающегося за соблюдение автором всех пунктов художественного договора. Можно спорить о том, стоит ли вообще оживлять альбомные формы, и есть ли еще кровь в жилах нашего славного четырехстопника (которому уже Пушкин, сам пустивший его гулять, грозил в окно, крича, что школьникам отдаст его в забаву), но никак нельзя отрицать, что в пределах, себе поставленных, свою стихотворную задачу Годунов-Чердынцев пра-

вильно разрешил. Чопорность его мужских рифм превосходно оттеняет вольные наряды женских; его ямб, пользуясь всеми тонкостями ритмического отступничества, ни в чем, однако, не изменяет себе. Каждый его стих переливается арлекином. Кому нравится в поэзии архиживописный жанр, тот полюбит эту книжечку. Слепому на паперти она ничего не может сказать. У, какое у автора зрение! Проснувшись спозаранку, он уже знает, каков будет день, по щели в ставне, которая

синеет, синего синей,
почти не уступая в сини
воспоминанию о ней,

и тем же прищуренным глазом он смотрит вечером на поле, одна сторона которого уже забрана тенью, между тем как другая, дальняя,

от валуна
посередине до опушки
еще, как днем, освещена.

Нам даже думается, что, может быть, именно живопись, а не литература с детства обещалась ему, и, ничего не зная о теперешнем облике автора, мы зато ясно вообразаем мальчика в соломенной шляпе, необыкновенно неудобно расположившегося на садовой скамейке со своими акварельными принадлежностями и пишущего мир, завещанный ему предками.

Фарфоровые соты синий,
зеленый, красный мед хранят.
Сперва из карандашных линий
слагается шершаво сад.
Березы, флигельный балкончик —
всё в пятнах солнца. Обмакну
и заверну погуще кончик
в оранжевую желтизну.
Меж тем в наполненном бокале,
в лучах граненого стекла —
какие краски засверкали,
какая радость расцвела!

Такова книжечка Годунова-Чердынцева. В заключение добавим... Что еще? Что еще? Подскажи мне, мое воображение. Неужто и вправду все очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь мои стихи, удержалось в них и замечено читателем, чей отзыв я еще сегодня узнаю? Неужели действительно он все понял в них, понял, что кроме пресловутой «живописности» есть в них еще тот особый поэтический смысл (когда за разум зашедший ум возвращается с музыкой), который один выводит стихи в люди? Читал ли он их по скважинам, как надобно читать стихи? Или просто так: прочел, понравилось, он и похвалил, отметив как черту модную в наше время, когда время в моде, значение их чередования: ибо если сборник открывается стихами о «Потерянном Мяче», то замыкается он стихами «О Мяче Найденном».

Одни картины да киоты
в тот год остались на местах,
когда мы выросли, и что-то

случилось с домом: второпях
все комнаты между собою
менялись мебелью своей:
шкапами, ширмами, толпою
неповоротливых вещей.
И вот тогда-то, под тахтою,
на обнажившемся полу,
живой, невероятно милый,
он обнаружился в углу.

Внешний вид книги приятен.

Выжав из нее последнюю каплю сладости, Федор Константинович потянулся и встал с кушетки. Ему сильно хотелось есть. Стрелки его часов с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени, так что нельзя было положиться на них, но, судя по свету, день, собравшись в путь, присел с домочадцами и задумался. Когда же Федор Константинович вышел на улицу, его обдало (хорошо, что надел) влажным холодком: пока он мечтал над своими стихами, шел, по-видимому, дождь, выложив улицу до самого ее конца. Фургон уже не было, а на том месте, где недавно стоял его трактор, у самой панели осталось радужное, с приматом пурпура и перистообразным поворотом, пятно масла: попугай асфальта. А как было имя перевозчицкой фирмы? Мах Лух. Что это у тебя, сказочный огородник? Макс. А то? Лук-с, ваша светлость.

«Да захватил ли я ключи?» – вдруг подумал Федор Константинович, остановившись и опустив руку в карман макинтоша. Там, наполнив горсть, успокоительно и веско звякнуло. Когда, три года тому, еще в бытность его тут студентом, мать переехала к Тане в Париж, она писала, что никак не может привыкнуть к освобождению от постоянного гнета цепи, привязывающей берлинца к дверному замку. Ему представилась ее радость при чтении статьи о нем, и на мгновение он почувствовал по отношению к самому себе материнскую гордость; мало того: материнская слеза обожгла ему края век. Но что мне внимание при жизни, коли я не уверен в том, что до последней, темнейшей своей зимы, дивясь, как ронсаровская старуха, мир будет вспоминать обо мне? А все-таки! Мне еще далеко до тридцати, и вот сегодня – признан. Признан! Благодарю тебя, отчизна, за чистый... Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар. Ты, как безумие... Звук «признан» мне, собственно, теперь и не нужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, **Россия**, за чистый и... второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке – а жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело, я не успел удержать.

Он купил пирожков (один с мясом, другой с капустой, третий с сагой, четвертый с рисом, пятый... на пятый не хватило) в русской кухмистерской, представлявшей из себя как бы кунсткамеру отечественной гастрономии, и скоро справился с ними, сидя на сырой скамье в сквере.

Дождь полил шибче, точно кто-то вдруг наклонил небо. Пришлось укрыться в круглом киоске у трамвайной остановки. Там, на лавке, двое с портфелями обсуждали сделку, да с такими диалектическими подробностями, что сущность товара пропадала, как при беглом чтении теряешь обозначенный лишь заглавной буквой предмет брокгаузовской статьи. Тряся стриженными волосами, вошла девушка с маленьким, сопящим, похожим на жабу бульдогом. А странно – «отчизна» и «признан» опять вместе, и там что-то упорно звенит. Не соблазнюсь.

Ливень перестал. Страшно просто, без всякого пафоса или штук, загллись все фонари. Он решил, что уже можно – с расчетом прийти в рифму к девяти – отправиться к Чернышевским. Как пьяных, что-то его охраняло, когда он в таком настроении переходил улицы. В мокром луче фонаря работал на месте автомобиль: капли на коже все до одной дрожали. Кто

мог написать? Федору Константиновичу никак не удавалось выбрать. Этот был добросовестен, но бездарен; тот – бесчестен, а даровит; третий писал только о прозе; четвертый – только о друзьях; пятый... и воображению Федора Константиновича представился этот пятый: человек его возраста, даже, кажется, на год моложе, напечатавший за те же годы, в тех же эмигрантских изданиях не больше его (тут стихи, там статью), но который, каким-то непонятным образом, едва ли не с физиологической естественностью некой эманации, исподволь оделся облаком неуловимой славы, так что имя его произносилось – не то чтоб особенно часто, но совершенно иначе, чем все прочие молодые имена; человек, каждую новую строчку которого он, презирая себя, брезгливо, поспешно и жадно поглощал в уголку, стараясь самым действием чтения истребить в ней чудо, – после чего дня два не мог отделаться ни от прочитанного, ни от чувства своего бессилия и тайной боли, словно в борьбе с другим поранил собственную сокровенную частицу; одинокий, неприятный, близорукий человек, с какой-то неправильностью во взаимном положении лопаток. Но я все прощу, если это ты.

Ему казалось, что он сдерживает шаг до шляния, однако попадавшие по пути часы (боковые исчадия часовых лавок) шли еще медленнее, и когда у самой цели он одним махом настиг Любовь Марковну, шедшую туда же, он понял, что во весь путь нетерпение несло его как на движущихся ступеньках, превращающих и стоячего в скорохода.

Почему, если уж носила пенснэ эта пожилая, рыхлая, никем не любимая женщина, то все-таки подкрашивала глаза? Стекла преувеличивали дрожь и грубость кустарной росписи, и от этого ее невиннейший взгляд получался до того двусмысленным, что нельзя было от него оторваться: гипноз ошибки. Да и вообще, едва ли не все в ней было основано на недоразумении, – и как знать, не было ли это даже формой умопомешательства, когда она думала, что по-немецки говорит как немка, что Гольсуорти крупный писатель или что Георгий Иванович Васильев патологически равнодушен к ней? Она была одной из вернейших посетительниц литературных посиделок, которые Чернышевские в союзе с Васильевым, толстым, старым журналистом, устраивали дважды в месяц по субботам; сегодня был только вторник; и Любовь Марковна еще жила впечатлениями прошлой субботы, щедро ими делясь. Роковым образом мужчины в ее обществе становились рассеянными невежами. Федор Константинович сам это чувствовал, но, к счастью, до дверей оставалось всего несколько шагов, и там уже ждала с ключами горничная Чернышевских, высланная, собственно, навстречу Васильеву, у которого была весьма редкая болезнь сердечных клапанов, – он даже сделал ее своей побочной специальностью и, случалось, приходил к знакомым с анатомической моделью сердца и все очень ясно и любовно демонстрировал. «А нам лифта не нужно», – сказала Любовь Марковна – и пошла наверх, сильно топая, но как-то особенно плавно и бесшумно поворачивая на площадках; Федору Константиновичу приходилось подниматься сзади нее замедленными зигзагами, как иногда видишь: прерывчато идет пес, пропуская голову то справа, то слева от каблука хозяина.

Им отворила сама Александра Яковлевна, и не успел он заметить неожиданное выражение ее лица (точно она не одобряла чего-то или хотела быстро что-то предотвратить), как в переднюю, на коротких, жирных ножках, выскочил опрометью ее муж, трясая на бегу газетой.

«Вот, – крикнул он, бешено дергая вниз углом рта (тик после смерти сына), – вот, смотрите!»

«Я, – заметила Чернышевская, – ожидала от него более тонких шуток, когда за него выходила».

Федор Константинович с удивлением увидел, что газета немецкая, и неуверенно ее взял.

«Дату! – крикнул Александр Яковлевич. – Смотрите же на дату, молодой человек!»

«Вижу, – сказал Федор Константинович со вздохом – и почему-то газету сложил. – Главное, я отлично помнил!»

Александр Яковлевич свирепо захохотал.

«Не сердитесь на него, пожалуйста», – с ленивой скорбью произнесла Александра Яковлевна, слегка балансируя бедрами и мягко беря молодого человека за кисть.

Любовь Марковна, защелкнув сумку, поплыла в гостиную.

Это была очень небольшая, пошловато обставленная, дурно освещенная комната с застрявшей тенью в углу и пыльной вазой танагра на недостижимой полке, и когда наконец прибыл последний гость и Александра Яковлевна, ставшая на минуту – как это обычно бывает – замечательно похожа на свой же (синий с бликом) чайник, начала разливать чай, теснота помещения претворилась в подобие какого-то трогательного уездного уюта. На диване, среди подушек – всё неаппетитных, заспанных цветов – подле шелковой куклы с бескостными ногами ангела и персидским разрезом очей, которую оба сидящих поочередно мяли, удобно расположились: огромный, бородатый, в довоенных носках со стрелками, Васильев и худенькая, очаровательно дохлая, с розовыми веками барышня – в общем, вроде белой мыши; ее звали Тамара (что лучше пристало бы кукле), а фамилия смахивала на один из тех немецких горных ландшафтов, которые висят у рамочников. Около книжной полки сидел Федор Константинович и, хотя в горле стоял кубик, старался казаться в духе. Инженер Керн, близко знавший покойного Александра Блока, извлекал из продолговатой коробки, с клейким шорохом, финик. Внимательно осмотрев кондитерские пирожные на большой тарелке с плохо нарисованным шмелем, Любовь Марковна, вдруг скомкав выбор, взяла тот сорт, на котором непременно бывает след неизвестного пальца: пышку. Хозяин рассказывал старинную первоапрельскую проделку медика первокурсника в Киеве... Но самым интересным из присутствующих был сидевший поодаль, сбоку от письменного стола, и не принимавший участия в общем разговоре, за которым, однако, с тихим вниманием следил, юноша... чем-то действительно напоминавший Федора Константиновича: он напоминал его не чертами лица, которые сейчас было трудно рассмотреть, но тональностью всего облика – серовато-русый оттенок круглой головы, которая была коротко острижена (что по правилам поздней петербургской романтики шло поэту лучше, чем лохмы), прозрачностью больших, нежных, слегка оттопыренных ушей, тонкостью шеи с тенью выемки у затылка. Он сидел в такой же позе, в какой сиживал и Федор Константинович, – немножко опустив голову, скрестив ноги и не столько скрестив, сколько поджав руки, словно зяб, так что покой тела скорее выражался острыми уступами (колени, локти, шуплое плечо) и сжатостью всех членов, нежели тем обычным смягчением очерка, которое бывает, когда человек отдыхает и слушает. Тень двух томов, стоявших на столе, изображала обшлаг и угол лацкана, а тень тома третьего, склонившегося к другим, могла сойти за галстук. Он был лет на пять моложе Федора Константиновича, и что касается самого лица, то, судя по снимкам на стенах комнаты и в соседней спальне (на столике, между плачущими по ночам постелями), сходства, может быть, и не существовало вовсе, ежели не считать известной его удлинненности при развитости лобных костей да темной глубины глазниц – паскальевой, по определению физиогномистов, – да еще, пожалуй, в широких бровях намечалось что-то общее... но нет, дело было не в простом сходстве, а в одинаковости духовной породы двух нескладных по-разному, угловато-чувствительных людей. Он сидел, этот юноша, не поднимая глаз, с чуть лукавой чертой у губ, скромно и не очень удобно, на стуле, вдоль сиденья которого блестели медные кнопки, слева от заваленного словарями стола, и, – как бы теряя равновесие, с судорожным усилием, Александр Яковлевич снова отрывал взгляд на него, продолжая рассказывать все то молодецки смешное, чем обычно прикрывал свою болезнь.

«А отзывы всё равно будут, – сказал он Федору Константиновичу, непроизвольно подмигивая, – уж будьте покойны, угорьки из вас повыжмут».

«Кстати, – спросила Александра Яковлевна, – что это такое „вилы в аллее“, – там, где велосипед?»

Федор Константинович скорее жестами, чем словами показал: знаете, – когда учишься ездить и страшно виляешь.

«Сомнительное выражение», – заметил Васильев.

«Мне больше всего понравилось о детских болезнях, да, – сказала Александра Яковлевна, кивнув самой себе, – это хорошо: рождественская скарлатина и пасхальный дифтерит».

«Почему не наоборот?» – полюбопытствовала Тамара.

Господи, как он любил стихи! Стекланный шкапчик в спальне был полон его книг: Гумилев и Эредиа, Блок и Рильке, – и сколько он знал наизусть! А тетради... Нужно будет когда-нибудь решиться и всё просмотреть. Она это может, а я не могу. Как это странно случается, что со дня на день откладываешь. Разве, казалось бы, не наслаждение – единственное, горькое наслаждение – перебирать имущество мертвого, а оно, однако, так и остается лежать нетронутым (спасительная лень души?); немисливо, чтобы чужой дотронулся до него, но какое облегчение, если бы нечаянный пожар уничтожил этот драгоценный маленький шкаф. Александр Яковлевич вдруг встал и, как бы случайно, так переставил стул около письменного стола, чтобы ни он, ни тень книг никак не могли служить темой для призрака.

Разговор тем временем перешел на какого-то советского деятеля, потерявшего после смерти Ленина власть. «Ну, в те годы, когда я видал его, он был в зените славы и добра», – говорил Васильев, профессионально перевирая цитату.

Молодой человек, похожий на Федора Константиновича (к которому именно поэтому так привязались Чернышевские), теперь очутился у двери, где, прежде чем выйти, остановился вполоборота к отцу, – и, несмотря на свой чисто умозрительный состав, ах, как он был сейчас плотнее всех сидящих в комнате! Сквозь Васильева и бледную барышню просвечивал диван, инженер Керн был представлен одним лишь блеском пенснэ, Любовь Марковна – тоже, сам Федор Константинович держался лишь благодаря смутному совпадению с покойным, – но Яша был совершенно настоящий и живой, и только чувство самосохранения мешало взглянуть в его черты.

«А может быть, – подумал Федор Константинович, – может быть, это все не так и он (Александр Яковлевич) вовсе сейчас не представляет себе мертвого сына, а действительно занят разговором, и если у него бегают глаза, так это потому, что он вообще нервный, Бог с ним. Мне тяжело, мне скучно, это все не то, – и я не знаю, почему я здесь сижу, слушаю вздор».

И все-таки он продолжал сидеть и курить, и покачивать носком ноги, – и промеж всего того, что говорили другие, что сам говорил, он старался, как везде и всегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти того служили ему подлокотниками и душа бы влегла в чужую душу, – и тогда вдруг менялось освещение мира и он на минуту действительно был Александр Яковлевич, или Любовь Марковна, или Васильев. Иногда к прохладе и легким нарзанным уколам преображения примешивалось азартно-спортивное удовольствие, и ему было лестно, когда случайное слово ловко подтверждало последовательный ход мыслей, который он угадывал в другом. Он, для которого так называемая политика (все это дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений, расхождений, падений, перерождений ни в чем не повинных городков в международные договоры) не значила ничего, погружался, бывало, с содроганием и любопытством в просторные недра Васильева и на мгновение жил при помощи его, васильевского, внутреннего механизма, где рядом с кнопкой «Локарно» была кнопка «лок-аут» и где в ложно умную, ложно занимательную игру вовлекались разнокалиберные символы: «пятерка кремлевских владык», или «восстание курдов», или совершенно потерявшие человеческий облик отдельные имена: Гинденбург, Маркс, Пенлеве, Эррио, – головастая э-оборотность которого настолько самоопределилась на столбцах васильевской «Газеты», что грозила полным разрывом с первоначальным французом; это был мир вещей предсказаний, предчувствий, таинственных комбинаций, мир, который, в сущности, был во сто крат призрачнее самой отвлеченной мечты. Когда же Федор Константинович пересаживался в Александру Яковлевну Чернышевскую, то попадал в душу, где не все было ему чуждо, но где многое изум-

ляло его, как чопорного путешественника могут изумлять обычаи заморской страны, базар на заре, голые дети, гвалт, чудовищная величина фруктов. Сорокапятилетняя, некрасивая, сонная женщина, потеряв два года тому назад единственного сына, вдруг проснулась: траур окрылил ее, и слезы омолодили, – так, по крайней мере, говорили знавшие ее прежде. Память о сыне, обернувшаяся у ее мужа недугом, в ней разгорелась какой-то живительной страстью. Неправильно было бы сказать, что эта страсть заполняла ее всю; нет, она еще далеко перелетала через душевный предел Александры Яковлевны, едва ли не облагораживая даже белиберду этих двух меблированных комнат, в которые она с мужем после несчастья переехала из большой старой берлинской квартиры (где еще до войны жилал ее брат с семьей). Своих знакомых она теперь рассматривала лишь под углом их восприимчивости к ее утрате, да еще, для порядка, вспоминала или воображала суждение Яши о том или другом лице, с которым приходилось встречаться. Ее охватил жар деятельности, жажда обильного отклика; сын в ней рос и выбивался наружу; литературный кружок, в прошлом году учрежденный Александром Яковлевичем совместно с Васильевым, дабы чем-нибудь себя и ее занять, показался ей лучшим посмертным чествованием поэта-сына. Тогда впервые я и увидел ее и был немало озадачен, когда вдруг эта пухленькая, страшно подвижная, с ослепительно синими глазами женщина среди первого разговора со мной залилась слезами, точно без всякой причины распался полный доверху хрустальный сосуд, и, не спуская с меня танцующего взгляда, смеясь и всхлипывая, пошла повторять: «Боже мой, как вы мне напомнили его, как напомнили!» Откровенность, с которой при следующих встречах со мной она говорила о сыне, о всех подробностях его гибели и о том, как он теперь ей снится (что будто беременна им, взрослым, а сама, как пузырь, прозрачна), показалась мне вульгарным бесстыдством, тем более покоробившим меня, когда я стороной узнал, что она была **немножко обижена** тем, что я не отвечал ей соответственной вибрацией, а просто переменял разговор, когда зашла речь о **моем** горе, о **моей** утрате. Но очень скоро я заметил, что этот восторг скорби, среди которого она беспрерывно жила, умудряясь не умереть от разрыва аорты, начинает как-то меня забирать и чего-то от меня требовать. Вы знаете это характерное движение, когда человек вам дает в руки дорогую для него фотографию и следит за вами с ожиданием... а вы, длительно и набожно посмотрев на невинно и без мысли о смерти улыбающееся лицо на снимке, притворно замедляете возвращение, притворно тормозите взглядом свою же руку, отдавая карточку с задержкой, словно было бы неучтиво расстаться с ней вдруг. Вот эту серию движений мы проделывали с Александрой Яковлевной без конца. Александр Яковлевич сидел за своим освещенным в углу столом и работал, изредка прочищая горло, – составлял свой словарь русских технических терминов, заказанный ему немецким книгоиздательством. Было тихо и нехорошо. Следы вишневого варенья на блюде мешались с пеплом. Чем дальше она мне рассказывала о Яше, тем слабее он меня притягивал, – о нет, мы с ним были мало схожи (куда меньше, чем полагала она, вовнутрь продлевая совпадение наших внешних черт, которых она к тому же находила больше, чем их было на самом деле, а было, опять-таки, только то небольшое на виду, что соответствовало немногому внутри нас) и едва ли мы подружались бы, встретясь я с ним вовремя. Его пасмурность, прерываемая резким крикливым весельем, свойственным безыюморным людям; его сентиментально-умственные увлечения; его чистота, которая сильно отдавала бы трусостью чувств, кабы не болезненная изысканность их толкования; его ощущение Германии; его безвкусные тревоги («неделю был как в чаду», потому что прочитал Шпенглера); наконец, его стихи... словом, все то, что для его матери было преисполнено очарования, мне лишь претило. Как поэт он был, по-моему, очень хил; он не творил, он перебивался поэзией, как перебивались тысячи интеллигентных юношей его типа; но если не гибли они той или другой более или менее геройской смертью – ничего общего не имеющей с русской словесностью, которую они, впрочем, знали досконально (о, эти Яшины тетради, полные ритмических ходов – треугольников да трапеций!), – они в будущем отклонялись от литературы совершенно и если выказывали в чем-либо талант, то

уж в области науки или службы, а не то попросту хорошо налаженной жизни. Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал «горчайшую» любовь к России, – есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя. Его мать читала их мне, сбиваясь, волнуясь, с неумелой гимназической интонацией, вовсе не шедшей к этим патетическим пэонам, – которые сам Яша, должно быть, читал самозабвенным певком, раздувая ноздри и раскачиваясь, в странном блистании какой-то лирической гордыни, после чего тотчас опять оседал, вновь становясь скромным, вялым и замкнутым. Эпитеты, у него жившие в гортани: «невероятный», «хладный», «прекрасный», – эпитеты, жадно употребляемые молодыми поэтами его поколения, обманутыми тем, что архаизмы, прозаизмы или просто обедневшие некогда слова вроде «роза», совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть, возвращаясь с другой стороны, – эти слова, в спотыкавшихся устах Александры Яковлевны, как бы делали еще один полукруг, снова закатываясь, снова являя всю свою ветхую нищету – и тем вскрывая обман стиля. Кроме патриотической лирики, были у него стихи о каких-то матросских тавернах; о джине и джазе, который он писал на переводно-немецкий манер: «яц»; были и стихи о Берлине с попыткой развить у немецких наименований голос, подобно тому как, скажем, названия итальянских улиц звучат подозрительно приятным контральто в русских стихах; были у него и посвящения дружбе, без рифмы и без размера, что-то путаное, туманное, пугливое, какие-то душевные дрызги и обращение на «вы» к другу, как на «вы» обращается больной француз к Богу или молодая русская поэтесса к любимому господину. И все это было выражено бледно, кое-как, со множеством неправильностей в ударениях, – у него рифмовало «предан» и «передан», «обезличить» и «отличить», «октябрь» занимал три места в стихотворной строке, заплатив лишь за два, «пожарище» означало большой пожар, и еще мне запомнилось трогательное упоминание о «фресках Врублёва», – прелестный гибрид, лишний раз доказывавший мне наше несходство, – нет, он не мог любить живопись так, как я. Свое настоящее мнение о его поэзии я скрывал от Александры Яковлевны, а те принужденные звуки нечленораздельного одобрения, которые я из приличия издавал, понимались ею как хаос восхищения. Она подарила мне на рождение, сияя сквозь слезы, лучший Яшин галстук, свежевыутюженный, старомодно муаровый, с еще заметной петербургской маркой «Джокей Клуб», – думаю, что сам Яша вряд ли его часто носил; и в обмен за все, чем она поделилась со мной, за полный и подробный образ покойного сына, с его стихами, ипохондрией, увлечениями, гибелью, Александра Яковлевна властно требовала от меня некоторого творческого содействия; получалось странное соответствие: ее муж, гордившийся своим столетним именем и подолгу занимавший историей одного знакомых (деда его в царствование Николая Первого крестил, – в Вольске, кажется, – отец знаменитого Чернышевского, толстый, энергичный священник, любивший миссионерствовать среди евреев и в придачу к духовному благу дававший им свою фамилию), не раз говорил мне: «Знаете что, написали бы вы, в виде *biographie romanesque*⁵, книжечку о нашем великом шестидесятнике, – да-да, не морщитесь, я все предвижу возраженья на предложение мое, но, поверьте, бывают же случаи, когда обаяние человеческого подвига совершенно искупает литературную ложь, а он был суший подвижник, и если бы вы пожелали описать его жизнь, я б вам много мог порассказать любопытного». Мне совсем не хотелось писать о великом шестидесятнике, а еще того меньше о Яше, как со своей стороны настойчиво советовала мне Александра Яковлевна (так что в общем получался заказ на всю историю их рода). Но невзирая на то, что меня и смешило и раздражало это их стремление указывать путь моей музе, я чувствовал, что еще немного, и Александра Яковлевна загонит меня в такой угол, откуда я не вылезу, и что, подобно тому как мне приходилось являться к ней в Яшином галстуке (покуда я не придумал отговориться тем, что боюсь его затрепать), точно

⁵ Романизированная биография (*фр.*).

так же мне придется засесть за писание новеллы с изображением Яшиной судьбы. Одно время я даже имел слабость (или смелость, может быть) прикидывать в уме, как бы я за это взялся, если бы да кабы... Иной мыслящий пошляк, беллетрист в роговых очках, – домашний врач Европы и сейсмограф социальных потрясений, – нашел бы в этой истории, я не сомневаюсь, нечто в высшей степени характерное для «настроений молодежи в послевоенные годы», – одно это сочетание слов (не говоря про область идей) невыразимо меня бесило; я испытывал приторную тошноту, когда слышал или читал очередной вздор, вульгарный и мрачный вздор, о симптомах века и трагедиях юношества. А так как загореться Яшиной трагедией я не мог (хотя Александра Яковлевна и думала, что горю), я невольно бы увяз как раз в глубокомысленной с гнусным фрейдовским душком беллетристике. С замиранием сердца упражняя воображение, носком ноги как бы испытывая слюдяной ледок зазоры, я доходил до того, что видел себя переписывающим и приносящим Чернышевской свое произведение, садящимся так, чтобы лампа с левой стороны освещала мой роковой путь (спасибо, мне так отлично видно), и после короткого предисловия насчет того, как было трудно, как ответственно... но тут все заволакивалось багровым паром стыда. К счастью, я заказа не исполнил, – не знаю, что именно уберегло: и тянул я долго, и какие-то случайно выдались благотворные перерывы в наших встречах, и самой Александре Яковлевне я, может быть, чуть-чуть приелся в качестве слушателя; как бы то ни было, история осталась писателем неиспользованной, – а была она, в сущности, очень проста и грустна, эта история.

Мы почти в одно время попали в берлинский университет, но я не знал Яши, хотя не раз, должно быть, мы проходили друг мимо друга. Разность предметов, – он занимался философией, я – инфузориями, – уменьшала возможность общения. Если бы я теперь вернулся в это прошлое, и лишь с одним обогащением – с сознанием сегодняшнего дня – повторил бы в точности все тогдашние мои петли, то, уж конечно, я бы сразу приметил его лицо, столь теперь знакомое мне по снимкам. Забавно: если вообще представить себе возвращение в былое с контрабандой настоящего, как же дико было бы там встретить в неожиданных местах, такие молодые и свежие, в каком-то ясном безумии не узнающие нас, прообразы сегодняшних знакомых; так, женщина, которую, скажем, со вчерашнего дня люблю, девочкой, оказывается, стояла почти рядом со мной в переполненном поезде, а прохожий, пятнадцать лет тому назад спросивший у меня дорогу, ныне служит в одной конторе со мной. В толпе минувшего с десяток лиц получило бы эту анахроническую значительность: малые карты, совершенно преобразованные лучом козыря. И с какой уверенностью тогда... Но, увы, когда и случается, во сне, так пропутешествовать, то на границе прошлого обесценивается весь твой нынешний ум, и в обстановке класса, наскоро составленного аляповатым бутафором кошмара, опять не знаешь урока – со всею забытой тонкостью тех бывших школьных мук.

В университете Яша близко сдружился со студентом Рудольфом Бауманом и студенткой Олей Г., – русские газеты не печатали полностью ее фамилии. Это была барышня его лет, его круга, родом чуть ли не из того же города, как и он. Семьи, впрочем, друг друга не знали. Только раз, года два после Яшиной гибели, на литературном вечере мне довелось видеть ее, и я запомнил ее необыкновенно широкий, чистый лоб, глаза морского оттенка и большой красный рот с черным пушком над верхней губой и толстой родинкой сбоку, а стояла она сложив на мягкой груди руки, что во мне сразу развернуло всю литературу предмета, где была и пыль ведрияного вечера, и шинок у тракта, и женская наблюдательная скука. Рудольфа же я не видал никогда и только с чужих слов заключаю, что был он бледноволос, быстр в движениях и красив – жилистой, лягавой красотой. Таким образом, для каждого из упомянутых трех лиц я пользуюсь другим способом изучения, что влияет и на плотность их, и на их окраску, покамест в последнюю минуту не ударяет по ним, озарением их уравнивая, какое-то мое, но мне самому непонятное солнце.

В дневниковых своих заметках Яша метко определил взаимоотношения его, Рудольфа и Оли как «треугольник, вписанный в круг». Кругом была та нормальная, ясная, «эвклидова», как он выразился, дружба, которая объединяла всех троих, так что с ней одной союз их остался бы счастливым, беспечным и нерасторгнутым. Треугольником же, вписанным в него, являлась та другая связь отношений, сложная, мучительная и долго образовавшаяся, которая жила своей жизнью, совершенно независимо от общей окружности одинаковой дружбы. Это был банальный треугольник трагедии, родившийся в идиллическом кольце, и одна уж наличность такой подозрительной ладности построения, не говоря о модной комбинационности его развития, — никогда бы мне не позволила сделать из всего этого рассказ, повесть, книгу.

«Я дико влюблен в душу Рудольфа, — писал Яша своим взволнованным, неоромантическим слогом. — Я влюблен в ее соразмерность, в ее здоровье, в жизнерадостность ее. Я дико влюблен в эту обнаженную, загорелую, гибкую душу, которая на все имеет ответ и идет через жизнь, как самоуверенная женщина через бальный зал. Я умею только представить себе в сложнейшем, абстрактнейшем порядке, по сравнению с которым Кант и Гегель игра, то дикое блаженство, которое я бы испытывал, если бы... Если бы что? Что я могу сделать с его душой? Вот это-то незнание, это отсутствие какого-то таинственнейшего орудия (вроде того как Альбрехт Кох тосковал о „золотой логике“ в мире безумных), вот это-то и есть моя смерть. Моя кровь кипит, мои руки холодеют, как у гимназистки, когда мы с ним вдвоем остаемся, и он знает это, и я становлюсь ему гадою, и он не скрывает брезгливого чувства. Я дико влюблен в его душу, — и это так же бесплодно, как влюбиться в луну».

Можно понять брезгливость Рудольфа, — но, с другой стороны... мне иногда кажется, что не так уж ненормальна была Яшина страсть, — что его волнение было в конце концов весьма сходно с волнением не одного русского юноши середины прошлого века, трепетавшего от счастья, когда, вскинув шелковые ресницы, наставник с матовым челом, будущий вождь, будущий мученик, обращался к нему... и я бы совсем решительно отверг непоправимую природу отклонения («Месяц, полигон, виола заблудившегося пола...» — как кто-то в кончеевской поэме **перевел** «и степь, и ночь, и при луне...»), если бы только Рудольф был в малейшей мере учителем, мучеником и вождем, — ибо на самом деле это был, что называется, «бурш», — правда, бурш с легким заскоком, с тягой к темным стихам, хромой музыке, кривой живописи, — что не исключало в нем той коренной добротности, которой пленился, или думал, что пленился, Яша.

Сын почтенного дурака-профессора и чиновничьей дочки, он вырос в чудных буржуазных условиях, между храмообразным буфетом и спинами спящих книг. Он был добродушен, хоть и недобр, общителен, а все же диковат, взбалмошен, но и расчетлив. В Олю он окончательно влюбился после велосипедной прогулки с ней и с Яшей по Шварцвальду, которая, как потом он показывал на следствии, «нам всем троим открыла глаза»; влюбился по последнему классу, просто и нетерпеливо, однако встретил в ней резкий отпор, еще усиленный тем, что бездельная, прожорливая, с угрюмым норовцом, Оля в свою очередь (в тех же еловых лесах, у того же круглого черного озера) «поняла, что увлеклась» Яшей, которого это так же угнетало, как его пыл — Рудольфа и как пыл Рудольфа — ее самое, так что геометрическая зависимость между их вписанными чувствами получилась тут полная, напоминая вместе с тем таинственную заданность определений в перечне лиц у старинных французских драматургов: такая-то — «*amante*»⁶, с тогдашним оттенком действительного причастия такого-то.

Уже к зиме, ко второй зиме их союза, они отчетливо разобрались в положении; зима ушла на изучение его безнадёжности. Извне все казалось благополучным: Яша беспробудно читал, Рудольф играл в хоккей, виртуозно мча по льду пак, Оля занималась искусствоведением (что в рассуждении эпохи звучит, как и весь тон данной драмы, нестерпимо типичной нотой); внутри же безостановочно развивалась глухая, болезненная работа, — ставшая стихийно раз-

⁶ Возлюбленная, любящая (фр.).

рушительной, когда наконец эти бедные молодые люди начали находить услаждение в своей тройственной пытке.

Долгое время по тайному соглашению (каждый о каждом бесстыдно и безнадежно все давно уже знал) они переживаний своих не касались вовсе, когда бывали втроем; но стоило любому из них отлучиться, как двое оставшихся неминуемо принимались обсуждать его страсть и страдания. Новый Год они почему-то встречали в буфете одного из берлинских вокзалов, – может быть потому, что на вокзалах вооружение времени особенно внушительно, – а потом пошли шляться в разноцветную слякоть по страшным праздничным улицам, и Рудольф предложил иронический тост за разоблачение дружбы, – и с той поры, сначала сдержанно, но вскоре в упоении откровенности, они уже совместно в полном составе обсуждали свои чувства. И тогда треугольник стал окружность свою разъедать.

Чета Чернышевских, как и родители Рудольфа, как и Олина мать (скульпторша, жирная, черноглазая, еще красивая дама с низким голосом, похоронившая двух мужей и носившая всегда какие-то длинные бронзовые цепи вокруг шеи), не только не чуяла, какое нарастает событие, но с уверенностью ответила бы, найдись праздный вопрошатель среди ангелов, уже слетавшихся, уже кипевших с профессиональной хлопотливостью вокруг колыбели, где лежал темненький новорожденный револьвер, – ответила бы, что все хорошо, все совершенно счастливы. Зато потом, когда все уже случилось, обокраденная память прилагала все усилия, чтобы в былом ровном потоке одинаково окрашенных дней найти следы и улики будущего, – и представьте себе, находила, – так что госпожа Г., **наносся**, как она выражалась, визит соборезнования Александре Яковлевне, вполне верила в свои слова, когда рассказывала, что давно предчувствовала беду – с того самого дня, как вошла в полутемную залу, где на диване в неподвижных позах, в различных горестных преклонениях аллегорий на могильных барельефах, молчали Оля и ее двое приятелей; это было одно мгновение, одно мгновение гармонии теней, но госпожа Г. будто бы это мгновение отметила, или, вернее, отложила его, чтобы через несколько месяцев к нему фуксом возвратиться.

К весне револьвер вырос. Он принадлежал Рудольфу, но долгое время незаметно перешел от одного к другому, как теплое на веревке кольцо или карта с негрятяночкой. Как это ни странно, мысль исчезнуть всем троим, дабы восстановился – уже в неземном плане – некий идеальный и непорочный круг, всего страстнее разрабатывалась Олей, хотя теперь трудно установить, кто и когда впервые высказал ее; а в поэты предприятия вышел Яша, положение которого казалось наиболее безнадежным, так как все-таки было самым отвлеченным; но есть печали, которых смертью не лечат, оттого что они гораздо проще врачуются жизнью и ее меняющейся мечтой: вещественная пуля их не берет, отлично зато справляясь с вещественной страстью Рудольфовых и Олиных сердец.

Выход был теперь найден, и разговоры о нем стали особенно увлекательны. В середине апреля, на тогдашней квартире Чернышевских (родители мирно ушли в кино напротив), случилось кое-что, послужившее, по-видимому, окончательным толчком для развязки. Рудольф неожиданно подвыпил, разошелся, Яша силой отрывал его от Оли, и все это происходило в ванной комнате, и потом Рудольф, рыдая, подбирал высыпавшиеся каким-то образом из кармана штанов деньги, и как было тяжело, как стыдно всем, и каким заманчивым облегчением представлялся назначенный на завтра финал.

После обеда в четверг, восемнадцатого, в восемнадцатую же годовщину смерти Олиного отца, они запаслись ставшим уже совсем толстым и самостоятельным револьвером и в легкую дырявую погоду (с влажным западным ветром и фиолетовой ржавчиной анютиных глазок во всех скверах) отправились на пятьдесят седьмом номере трамвая в Груневальд, чтобы там, в глухом месте леса, один за другим застрелиться. Они стояли на задней площадке, все трое в макинтошах, с бледными, распухшими лицами, и Яшу как-то странно опрощала старая кепка с большим козырьком, которой года четыре он не носил, а сегодня надел почему-то; Рудольф

был без шапки, ветер трепал его светлые, откиннутые с висков волосы; а Оля, опершись спиной о задний борт и держась за черную штангу белой, крепкой рукой с большим перстнем на указательном пальце, глядела прищуренными глазами на пробежавшие улицы и все наступала нечаянно на рычажок нежного звоночка в полу (предназначенного каменной ножище вагоновожатого, когда зад вагона становится передом). Эту группу увидел изнутри, сквозь дверцу, Юлий Филиппович Познер, бывший репетитор Яшиного двоюродного брата. Быстро высунувшись, – это был напористый и уверенный господин, – он поманил Яшу, и тот, узнав его, вошел к нему.

«Очень удачно, что я встретил вас», – сказал Познер и, обстоятельно пояснив, что едет с пятилетней дочкой (сидевшей отдельно у окна и прижимавшей мягкий, как резина, нос к стеклу) провести жену в родильном приюте; вынул бумажник, а из бумажника визитную карточку и, воспользовавшись невольной остановкой вагона (соскочил на повороте контактный шест), вечным пером вычеркнул старый адрес и надписал новый. «Сие, – сказал он, – передайте вашему кузену, как только он вернется из Базеля, и напомните ему, пожалуйста, что у него осталось несколько моих книг, которые мне нужны, и даже очень нужны».

Трамвай летел по Гогенцоллерндам, Оля и Рудольф все так же строго и молча стояли на ветру, но кое-что загадочным образом изменилось: тем, что Яша оставил их вдвоем на минуту (Познер с дочкой очень скоро сошел), союз как бы нарушился, и началось его, Яшино, отделение от них, так что когда он к ним вернулся на площадку, он, не зная этого, как и они не знали, уже был совсем сам по себе, причем незаметная трещина неудержимо, по закону всех трещин, продолжала ползти и шириться.

В пустом весеннем лесу, где мокрые коричневые березы, особенно которые поменьше, стояли безучастные, обращенные всем вниманием внутрь себя, – невядалеке от сизого озера (на всем громадном побережье которого не было никого, кроме маленького человека, закидывавшего по просьбе пса палку в воду) они без труда нашли удобную глушь и тотчас приступили к делу; вернее, приступил Яша: в нем жила та честность духа, которая придает самому безрассудному поступку почти будничную простоту. Сказав, что застрелится первым по праву старшинства (ему было на год больше Рудольфа и на месяц больше Оли), он этой пустой ссылкой сделал излишним удар грубого жребия, который все равно по слепоте своей пал бы, вероятно, на него; и, скинув макинтош и не простившись с друзьями, что было только естественно ввиду одинаковости маршрута, безмолвно, с неловкой торопливостью, он спустился между сосен по скользкому скату в буерак, густо поросший дубком и терновыми кустами, которые, несмотря на апрельскую прозрачность, совершенно скрыли его от оставшихся.

Те двое долго ждали выстрела. Папирос у них не было, но Рудольф догадался ощупать карман Яшиного макинтоша, там оказалась нераспечатанная коробочка. Небо заволкло, сосны осторожно шумели, и снизу казалось, что их слепые ветви стараются нашарить что-то. Высоко и сказочно быстро, вытянув длинные шеи, пролетели две диких утки, одна чуть отстав от другой. Впоследствии Яшина мать показывала визитную карточку, Dipl. Ing.⁷ Julius Posner, на обороте которой Яша карандашом написал: «Мамочка, папочка, я еще жив, мне очень страшно, простите меня». Наконец Рудольф не выдержал и спустился туда, чтоб посмотреть, что с ним. Яша сидел на коряге, среди прошлогодних, еще неотвеченных листьев, но не обернулся, а только сказал: «Я сейчас готов». В его спине было что-то напряженное, словно он преодолевал сильную боль. Рудольф вернулся к Оле, но не успел до нее добраться, как оба ясно услышали сухой хлопок выстрела, а в комнате у Яши еще несколько часов держалась, как ни в чем не бывало, жизнь, бананная выползина на тарелке, «Кипарисовый Ларец» и «Тяжелая Лира» на стуле около кровати, пингпонговая лопатка на кушетке; он был убит наповал, однако, чтобы его оживить, Рудольф и Оля еще протаскивали его сквозь кусты к тростникам и там отчаянно кропили и терли, так что он был весь измазан землей, кровью, илом, когда полиция нашла

⁷ Дипломированный инженер (*фр., сокр.*).

труп. Затем они стали звать, но никто не откликнулся: архитектор Фердинанд Штокшмайсер давно ушел со своим мокрым сеттером.

Они вернулись к тому месту, где ждали выстрела, и тут история начинает смеркаться. Ясно только то, что у Рудольфа, потому ли, что для него открылась кое-какая земная вакансия, потому ли, что он просто был трус, пропала всякая охота стреляться, а что Оля если и упорствовала в своем намерении, то все равно ничего сделать не могла, так как он немедленно револьвер спрятал. В лесу, где было холодно, темно, где моросил, шелестя, слепой дождь, они оставались почему-то долго, до бессмысленно позднего часа. Молва утверждала, что тогда-то началась между ними связь, но это уж было бы чересчур плоско. Около полуночи, на углу улицы с лирическим названием Сиреновой, вахмистр недоверчиво выслушал их ужасный, но бойкий рассказ. Есть такое истерическое состояние, которое принимает вид ребячливой развязности.

Если б Александра Яковлевна непосредственно после случившегося свиделась с Олей, то, может быть, и вышел бы из этого для обеих какой-нибудь сентиментальный толк. К несчастью, это случилось несколькими месяцами позже, во-первых, потому, что Оля отсутствовала, а во-вторых, потому, что горе Александры Яковлевны не сразу приняло ту деятельную и даже возмущенную форму, какую застал Федор Константинович. Оле в некотором смысле не повезло: была как раз помолвка ее сводного брата, дом был полон гостей, и когда без предупреждения, под тяжелой траурной вуалью и с лучшей частью своего скорбного архива (фотографиями, письмами) в сумке, и вся готовая к блаженству обоюдных рыданий, явилась Чернышевская, то к ней вышла хмуро вежливая, хмуро нетерпеливая барышня в полупрозрачном платье, с кровавыми губами и толстым белым носом, и рядом с боковой комнаткой, куда она ввела гостью, подвывал граммофон, и, конечно, никакого разговора не получилось... «Я только долго на нее посмотрела», – рассказывала Чернышевская и после этого тщательно отрезала на многих маленьких снимках и Олю, и Рудольфа, – хотя этот-то посетил ее сразу, и валялся у нее в ногах, и головой бился о мягкий угол кушетки, и потом ушел своей чудной легкой походкой по синему после весеннего ливня Курфюрстендам.

Болезненнее всего смерть Яши отразилась на его отце. Целое лето пришлось ему провести в лечебнице, но он так и не выздоровел: загородка, отделявшая комнатную температуру рассудка от безбрежно безобразного, студеного, призрачного мира, куда перешел Яша, вдруг рассыпалась, и восстановить ее было невозможно, так что приходилось пробоину как-нибудь занавешивать да стараться на шевелившиеся складки не смотреть. Отныне его жизнь пропускала неземное; но ничем не разрешалось это постоянное общение с Яшиной душой, о котором он наконец рассказал жене, в напрасной надежде этим обезвредить питающееся тайной привидение: тайна выросла, вероятно, опять, так как вскоре ему снова пришлось обратиться к скучной, сугубо брэнной, стеклянно-резиновой помощи врачей. Таким образом, он только наполовину жил в нашем мире, но тем жаднее и отчаяннее цеплялся за него, и, слушая его шелкающую речь и глядя на его аккуратные черты, трудно было представить себе внежизненный опыт этого здорового с виду, кругленького, лысого с волосиками по бокам, человека, но тем страннее была судорога, вдруг искажавшая его; да еще то, что он время от времени по неделям не снимал с правой руки серой фильдекосовой перчатки (страдал экземой), страшно намекало на тайну, словно он, гнушаясь нечистого прикосновения жизни или опаленный жизнью другой, берег голое рукопожатие для каких-то нечеловеческих, едва вообразимых свиданий. Меж тем ничто не остановилось после Яшиной смерти, и происходило много интересного, в России наблюдалось распространение абортотомии и возрождение дачников, в Англии были какие-то забастовки, кое-как скончался Ленин, умерли Дузе, Пуччини, Франс, на вершине Эвереста погибли Ирвинг и Маллори, а старик Долгорукий, в кожаных лаптях, ходил в Россию смотреть на белую гречу, между тем как в Берлине появились, чтобы вскоре исчезнуть опять, наемные циклонетки, и первый дирижабль медленно перешагнул океан, и много писалось о Куэ, Чан-

Солине, Тутанкамоне, а как-то в воскресенье молодой берлинский купец со своим приятелем слесарем предпринял загородную прогулку на большой, крепкой, кровью почти не пахнувшей, телеге, взятой напрокат у соседа-мясника: в плюшевых креслах, на нее поставленных, сидели две толстых горничных и двое малых детей купца, горничные пели, дети плакали, купец с приятелем дули пиво и гнали лошадей, погода стояла чудная, так что на радостях они нарочно наехали на ловко затравленного велосипедиста, сильно избили его в канаве, искромсали его папку (он был художник) и покатали дальше, очень веселые, а придя в себя, художник догнал их в трактирном саду, но полицейских, попытавшихся установить их личность, они избили тоже, после чего, очень веселые, покатали по шоссе дальше, а увидев, что их настигают полицейские мотоциклетки, стали палить из револьверов, и в завязавшейся перестрелке был убит трехлетний мальчик немецкого ухаря-купца.

«Послушайте, надо бы как-нибудь переменить разговор, – тихо сказала Чернышевская, – я этих штук для него боюсь. У вас, верно, есть новые стихи, правда? Федор Константинович прочтет стихи», – закричала она, – но Васильев, полулежа, в одной руке держа монументальный мундштук с безникотиновой папиросой, а другой рассеянно теребя куклу, производившую какие-то эмоциональные эволюции у него на колене, продолжал еще с полминуты рассказывать о том, как вчера разбиралась в суде эта веселая история.

«Ничего у меня с собой нет, и я ничего не помню», – несколько раз повторил Федор Константинович.

Чернышевский быстро к нему обернулся и положил ему на рукав свою маленькую волосатую руку. «Я чувствую, вы все еще на меня дуетесь. Честное слово, нет? Я потом сообразил, как это было жестоко. У вас скверный вид. Что у вас слышно? Вы мне так и не объяснили толком, почему вы переехали».

Он объяснил: в пансионе, где он прожил полтора года, поселились вдруг знакомые, – очень милые, бескорыстно навязчивые люди, которые «заглядывали поболтать». Их комната оказалась рядом, и вскоре Федор Константинович почувствовал, что между ними и им стена как бы рассыпалась и он беззащитен. Но Яшиному отцу, конечно, никакой переезд не помог бы.

Посвистывая, согнув слегка спину, громадный Васильев рассматривал корешки книг на полках; вынул одну и, раскрыв ее, перестал свистать, но зато, шумно дыша, начал про себя читать первую страницу. Его место на диване заняла Любовь Марковна с сумкой: обнажив усталые глаза, она обмякла и теперь приглаживала неизбалованной рукой Тамарин золотой затылок.

«Да! – резко сказал Васильев, захлопнув книгу и вдавив ее в первую попавшуюся щель. – Все на свете кончается, товарищи. Мне лично нужно завтра вставать в семь».

Инженер Керн посмотрел себе на кисть.

«Ах, посидите еще», – проговорила Чернышевская, пристально сияя синевой глаз, и, обратившись к инженеру, вставшему и зашедшему за свой стул и убравшему его на вершок в сторону (как иной, напившись, перевернул бы на блюде стакан), она заговорила о докладе, который тот согласился прочитать в следующую субботу, – доклад назывался «Блок на войне».

«Я на повестках по ошибке написала „Блок и война“, – говорила Александра Яковлевна, – но ведь это не играет значения?»

«Нет, напротив, очень даже играет, – с улыбкой на тонких губах, но с убийством за увеличительными стеклами, отвечал инженер, не разнимая сцепленных на животе рук. – „Блок на войне“ выражает то, что нужно, – персональность собственных наблюдений докладчика, – а „Блок и война“ – это, извините, философия».

И тут все они стали понемногу бледнеть, зыблиться произвольным волнением тумана – и совсем исчезать; очертания, извиваясь восьмерками, пропадали в воздухе, но еще поблескивали там и сям освещенные точки, – приветливая искра в глазу, блик на браслете; на мгновение еще вернулся напряженно сморщенный лоб Васильева, пожимающего чью-то уже тающую

руку, а совсем уже напоследок проплыла фисташковая солома в шелковых розочках (шляпа Любовь Марковны), и вот исчезло все, и в полную дыма гостиную, без всякого шума, в ночных туфлях, вошел Яша, думая, что отец уже в спальне, и с волшебным звоном, при свете красных фонарей, невидимки чинили черную мостовую на углу площади, и Федор Константинович, у которого не было на трамвай, шел пешком восвояси. Он забыл занять у Чернышевских те две-три марки, с которыми дотянул бы до следующей полочки: сама по себе мысль об этом не беспокоила бы его, если бы не сочеталась, укрепляя горечь всего сочетания, с отвратительным разочарованием (уж слишком ярко он было вообразил успех своей книги), и с холодной течью в левом башмаке, и с боязнью предстоящей ночи на новом месте. Его томила усталость, недовольство собой – потерял зря нежное начало ночи; его томило чувство, что он чего-то не додумал за день, и теперь не додумает никогда.

Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство, – мало того, рассчитывали на любовь; и даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку; он шел по этим темно-блестящим улицам, и погасшие дома уходили, не глядя, кто пятясь, кто боком, в бурое небо берлинской ночи, где все-таки были там и сям топкие места, тающие под взглядом, который таким образом выручал несколько звезд. Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка и еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана, и тут же общественная уборная, похожая на пряничный домик Бабы-Яги. Во мраке сквера, едва задетого веером уличного света, красавица, которая вот уже лет восемь все отказывалась воплотиться снова (настолько жива была память о первой любви), сидела на пепельной скамейке, но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола. Он свернул на свою улицу и погрузился в нее, как в холодную воду, – так не хотелось, такую тоску обещала та комната, недоброжелательный шкаф, кушетка. Отыскав свой подъезд (видоизмененный темнотой), он достал ключи. Ни один из них двери не отпер.

«Что такое...» – сердито пробормотал он, глядя на бородку, – и снова, стервенея, принялся совать. «Что за чорт!» – воскликнул он и отступил, чтобы задрать голову и посмотреть на номер дома. Нет, – правильно. Он опять было нагнулся к замку, – и вдруг его осенило: это были, конечно, ключи пансионские, которые при сегодняшнем переезде он с собой нечаянно в макинтоше увез, а новые остались, должно быть, в комнате, в которую ему теперь хотелось попасть гораздо сильнее, чем только что.

В те годы берлинские швейцары были по преимуществу зажиточные, с жирными женами, грубияны, принадлежавшие из мещанских соображений к коммунистической партии. Русские жильцы перед ними робели: привыкши к подвластности, мы всюду себе назначаем тень надзора. Федор Константинович вполне понимал, как глупо бояться старого дурака с кадыком, а все-таки разбудить его за полночь, вызвать из-под исполинской перины, сделать вот это движение, чтобы нажать кнопку (хотя весьма вероятно, что не откликнулся бы никто, сколько ни жми), никак не решался, тем более что не было того гривенника, без которого немислимо было пройти мимо ладони, на уровне бедра раскрытой мрачным ковшом: не сомневающейся в дани.

«Вот так штука, вот так штука», – шептал он, отходя и чувствуя, как сзади, от затылка до пят, наваливается на него бремя бессонной ночи, железный двойник, которого надо куда-то нести. «Как это глупо», – сказал он еще, произнося «глупо» с французским «l», как это делывал – рассеянно и привычно-шутливо – его отец, когда бывал чем-нибудь озадачен.

Не зная, что предпринять, ждать ли, что кто-нибудь впустит, пойти ли на розыски ночного сторожа в черном плаще, который блюдет замки на некоторых улицах, или все-таки заставить себя звонком взорвать дом, Федор Константинович начал шагать по панели до угла и обратно. Улица была отзывчива и совершенно пуста. Высоко над ней, на поперечных проволоках, висело по млечно-белому фонарю; под ближайшим из них колебался от ветра призрачный круг на сыром асфальте. И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то, однако, со звенящим тамбуринным звуком, что-то

столкнуло с края души, где это что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось «Благодарю тебя, отчизна...», и тотчас, обратной волной: «за злую даль благодарю...». И снова полетело за ответом: «...тобой не признан...». Он сам с собою говорил, шагая по несуществующей панели; ногами управляло местное сознание, а главный, и, в сущности, единственно важный, Федор Константинович уже заглядывал во вторую качавшуюся, за несколько сажений, строфу, которая должна была разрешиться еще неизвестной, но вместе с тем в точности обещанной гармонией. «Благодарю тебя...» – начал он опять вслух, набирая новый разгон, но вдруг панель под ногами окаменела, все кругом заговорили сразу, и он кинулся, миготом отрезвись, к двери своего дома, ибо за нею был теперь свет.

Скуластая, немолодая дама, в накинутах, сползавшем с плеча, каракулевым жакете, которого выпускала, задержалась вместе с выпускаемым в дверях. «Так вы не забудьте, золотце», – просила она вялым житейским голосом, когда подоспел, осклабясь, Федор Константинович, тотчас ее узнавший: нынче утром встречала с мужем свою мебель. Но и выпускаемого он тоже узнал – это был молодой живописец Романов: раза два сталкивался с ним в редакции. С удивленным выражением на изящном лице, эллинскую чистоту коего бесповоротно портили темные, кривые зубы, он поздоровался с Федором Константиновичем, который затем, неловко поклонившись даме, державшей самое себя за ключицы, огромными шагами кинулся вверх по лестнице, отвратительно споткнулся на загибе ее и дальше полез, трогая перила. Заспанная, в халате, Стобой была страшна, но это продолжалось не долго. У себя в комнате он с трудом нащупал свет. На столе блестели ключи и белелась книга. «Уже кончилась», – подумал он. Так недавно он раздаривал знакомым экземпляры, со строгим приветом, на искренний суд, а теперь было стыдно вспомнить и эти надписи, и то, как все последние дни он жил счастьем книги. А ведь ничего особенного не произошло: нынешний обман не исключал завтрашней или послезавтрашней награды, но каким-то образом он пресытился мечтой, и теперь книга лежала на столе, вся в себе заключенная, собою ограниченная и законченная, и уже не изливалась могучими, радостными лучами, как прежде.

Когда же он лег в постель, только начали мысли укладываться на ночь и сердце погружаться в снег сна (он всегда испытывал перебои, засыпая), Федор Константинович рискнул повторить про себя недосочиненные стихи – просто чтобы еще раз порадоваться им перед сонной разлукой; но он был слаб, а они дергались жадной жизнью, так что через минуту завладели им, мурашками побежали по коже, заполнили голову божественным жужжанием, и тогда он опять зажег свет, закурил и, лежа навзничь, – натянув до подбородка простыню, а ступни выпростав, как Сократ Антокольского, – предался всем требованиям вдохновения. Это был разговор с тысячею собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно, и как хорошо... И в разговоре татой ночи сама душа нетатот... безу безумие безочит, тому тамузыка татот...

Спустя три часа опасного для жизни воодушевления и вслушивания он наконец выяснил всё, до последнего слова, завтра можно будет записать. На прощание попробовал вполголоса эти хорошие, теплые, парные стихи.

Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобой полн, тобой не признан,
и сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет... —

и только теперь поняв, что в них есть какой-то смысл, с интересом его проследил – и одобрил. Изнеможенный, счастливый, с ледяными пятками, еще веря в благо и важность совершённого, он встал, чтобы потушить свет. В рваной рубашке, с открытой худой грудью и длинными, мохнатыми, в бирюзовых жилах ногами, он помешкал у зеркала, все с тем же серьезным любопытством рассматривая и не совсем узнавая себя, эти широкие брови, лоб с мыском коротко остриженных волос. В левом глазу лопнул сосудец, и скользящий с угла рудой отлив придавал что-то цыганское темному блеску зрачка. Господи, как за эти ночные часы обросли впалые щеки – словно влажный жар стихотворчества поощрял и рост волос! Он повернул выключатель, но в комнате нечему было сгуститься, и, как встречающие на дымном дебаркадере, стояли бледные и озябшие предметы.

Он долго не мог уснуть: оставшаяся шелуха слов засоряла и мучила мозг, колола в висках, никак нельзя было от нее избавиться. А тем временем комната совсем просветлела, и где-то – должно быть, в плюще – шалые воробьи, все вместе, вперебивку, до одури звонко: большая перемена у маленьких.

Так началось его жительство в новом углу. Хозяйка не могла привыкнуть к тому, что он спит до часу дня, неизвестно, где и как обедает, а ужинает на промасленных бумажках. О его сборничке так никто и не написал, – он почему-то полагал, что это само собою делается, и даже не потрудился разослать редакциям, – если не считать краткой заметки (экономического сотрудника васьевской «Газеты»), где высказывался оптимистический взгляд на его литературную будущность и приводилась одна из его строф с бельмом опечатки. Танненбергскую улицу он узнал ближе, и она выдала ему все свои лучшие тайны: так, в следующем доме внизу жил старичок сапожник по фамилии Канариенфогель, и действительно у него стояла клетка, хоть и без палевой пленницы, в окне, среди образцов починенной обуви, но башмаки Федора Константиновича он, посмотрев на него поверх железных очков своего цеха, чинить отказался, и пришлось подумать о том, как купить новые. Узнал он и фамилию верхних жильцов: по ошибке взлетев однажды на верхнюю площадку, он прочел на дощечке: Carl Lorentz, Geschichtsmaler⁸, – а как-то встреченный на углу Романов, который снимал пополам с гешихтсмалером мастерскую в другой части города, кое-что рассказал о нем: труженик, мизантроп и консерватор, всю жизнь писавший парады, битвы, призрак со звездой и лентой в садах Сан-Суси, – и теперь, в безмундирной республике, обедневший и помрачневший вконец, – он пользовался до войны 1914—18 года почетной известностью, ездил в Россию писать встречу кайзера с царем и там, проводя зиму в Петербурге, познакомился с еще молодой тогда и обаятельной, рисующей, пишущей, музицирующей Маргаритой Львовной. Его союз с русским художником заключен был случайно, по объявлению в газете: Романов, тот был совсем другого пошиба. Лоренц угрюмо привязался к нему, но с первой же его выставки (это было время его портрета графини д'Икс: абсолютно голая графиня, с отпечатками корсета на животе, стояла, держа на руках себя же самое, уменьшенную втрое) считал и сумасшедшим и мошенником. Многих же обольстил его резкий и своеобразный дар; ему предсказывали успехи необыкновенные, а кое-кто даже видел в нем зачинателя новонатуралистической школы: пройдя все искусства модернизма (как выражались), он будто бы пришел к обновленной – интересной, холодноватой – фабульности. Еще сквозила некоторая карикатурность в его ранних вещах – в этой его «Coincidence»⁹, например, где, на рекламном столбе, в ярких, удивительно между собой согласованных красках афиш, можно было прочесть среди астральных названий кинематографов и прочей прозрачной пестроты объявление о пропаже (с вознаграждением нашедшему) алмазного ожерелья, которое тут же на панели, у самого подножья столба, и лежало, сверкая невинным огнем. Зато в его «Осени», – сваленная в канаву среди великолепных кленовых листьев

⁸ Карл Лоренц, исторический живописец (нем.).

⁹ «Совпадение» (фр.).

черная портняжная болванка с прорванным боком, – была уже выразительность более чистого качества; знатоки находили тут бездну грусти. Но лучшей его вещью до сих пор оставалась приобретенная разборчивым богачом и уже многократно воспроизводившаяся: «Четверо горожан, ловящих канарейку», все четверо в черном, плечистые, в котелках (но один почему-то босой), расставленные в каких-то восторженно-осторожных позах под необыкновенно солнечной зеленью прямоугольно остриженной липы, в которой скрывалась птица, улетевшая, может быть, из клетки моего сапожника. Меня неопределенно волновала эта странная, прекрасная, а все же ядовитая живопись, я чувствовал в ней некое **предупреждение**, в обоих смыслах слова: далеко опередив мое собственное искусство, оно освещало ему и опасности пути. Сам же художник мне был до противности скучен, – что-то было невозможное для меня в его чрезвычайно поспешной, чрезвычайно шепелявой речи, сопровождавшейся никак с нею не связанным, машинальным маячением лучистых глаз. «Послушайте, – сказал он, плюнув мне в подбородок, – давайте я познакомлю вас с Маргаритой Львовной, она заказала мне вас как-нибудь привести, приходите, мы устраиваем такие, знаете, вечеринки в мастерской, с музыкой, бутербродами, красными абажурчиками, бывает много молодежи, Полонская, братья Шидловские, Зина Мерц...»

Имена эти были мне неведомы, желания проводить вечера в обществе Всеволода Романова я не испытывал никакого, плосколицая жена Лоренца меня тоже не занимала никак, – так что я не только не принял приглашения, но с тех пор стал художника избегать.

Со двора по утрам раздавалось – тонко и сдержанно-певуче: «Prima Kartoffel»¹⁰, – как трепещет сердце молодого овоща! – или же замогильный бас возглашал: «Blumen Erde»¹¹. В стук выколачиваемых ковров иногда вмешивалась шарманка, коричневая на бедных тележковых колесах, с круглым рисунком на стенке, изображавшим идиллический ручей, и вращая то правой, то левой рукой, зоркий шарманщик выкачивал густое «O sole mio». Оно уже приглашало в сквер. Там каштановое деревцо, подпертое колом (ибо, как младенец не умеет ходить, оно еще не умело расти без помощи), вдруг выступило с цветком больше него самого. Сирень же долго не распускалась; когда же решилась, то в одну ночь, немало окурков оставившую под скамейками, рыхлой роскошью окружила сад. На тихой улочке за церковью, в пасмурный июньский день, осыпались акации, и темный асфальт вдоль панели казался запачканным в манной каше. На клумбах, вокруг статуи бронзового бегуна, роза «слава Голландии» высвободила углы красных лепестков, и за ней последовал «генерал Арнольд Янссен». В июле, в веселый и безоблачный день, состоялся очень удачный муравьиный лет: самки взлетали, их пожирали воробьи, взлетая тоже; а там, где им никто не мешал, они долго потом ползали по гравии, теряя свои слабые бутафорские крылья. Из Дании сообщали, что вследствие необычайной жары там наблюдаются многочисленные случаи помешательства: люди срывают с себя одежды и бросаются в каналы. Бешеными зигзагами метались самцы непарного шелкопряда. Липы проделали все свои сложные, сорные, душистые, неряшливые метаморфозы.

Федор Константинович проводил большую часть дня на темно-синей скамейке в сквере, без пиджака, в старых парусиновых туфлях на босу ногу, с книгой в длинных загорелых пальцах; а когда солнце слишком наваливалось, он закидывал голову на горячий край спинки и долго жмурился; призрачные колеса городского дня вращались сквозь внутреннюю бездонную алость, и пробежали искры детских голосов, и книга, раскрытая на коленях, становилась все тяжелее, все бескнижнее; но вот алость темнела наплывом, и, приподняв вспотевший затылок, он раскрывал глаза и опять видел сад, газон с маргаритками, свежеполитый гравий, девочку, самое с собой игравшую в классы, младенца в коляске, состоявшего из двух глаз и розовой трещотки, путешествие слепнувшего, дышащего, лучащегося диска сквозь облако, – и снова

¹⁰ Великолепный картофель (нем.).

¹¹ Садовая земля (нем.).

все разгоралось, и с грохотом проезжал вдоль сада по пятнистой, обсаженной волнующимися деревьями улице угольный грузовик, с черным угольщиком на высоком, тряском сиденье, державшим в зубах за стебель изумрудно-яркий лист.

Под вечер он шел на урок – к дельцу с бледными ресницами, смотревшему на него с недобрый недоумением в тусклом взгляде, когда он ему беспечно читал Шекспира; или к гимназистке в черном джампере, которую ему иногда хотелось поцеловать в склоненную желтоватую шею; или к развеселому коренастому морскому офицеру, который говорил «есть» и «обмозговать» и готовился «дать драпу» в Мексику, тайно от своей сожительницы, шестипудовой, страстной и скорбной старухи, случайно в одних розвальнях с ним бежавшей в Финляндию и с тех пор в вечном отчаянии ревности кормившей его кулебяками, варенцом, грибами... Кроме того, бывали прибыльные переводы, какая-нибудь докладная записка о низкой звукопроводности плиточных полов или трактат о подшипниках; и наконец, небольшой, но особенно драгоценный доход приносили стихи, которые он сочинял запоем и все с тем же отечественно лирическим подъемом, причем одни не дотягивали до полного воплощения и рассеивались, оплодотворяя тайную глубину, а другие, до конца подчищенные и снабженные всеми запятыми, увозились в редакцию – сперва подземным поездом с бликами отражений, быстро поднимавшихся по медным вертикалям, затем – огромным и странно пустым лифтом на восьмой этаж, где в конце серого, как пластилин, коридора, в узкой комнатке, пахнувшей «разлагавшимся трупом злободневности» (как острил первый комик редакции), сидел секретарь, лунообразный флегматик, без возраста и словно без пола, не раз спасавший положение, когда граживали разгромом недовольные той или другой заметкой – какие-нибудь местные платные якобинцы или свой брат, шуан, здоровенный прохвост из мистиков.

Гремел телефон, промахивал, развеваясь, метранпаж, театральный рецензент все читал в углу прилудную из Вильны газетку. «Разве вам что-нибудь причитается? Ничего подобного», – говорил секретарь. Из комнаты справа, когда раскрывалась дверь, слышался сдобно диктующий голос Геца или покашливание Ступишина, и среди стука нескольких машинок можно было различить мелкую дробь Тамары.

Слева находился кабинет Васильева; люстриновый пиджак натягивался на его жирных плечах, когда, стоя за конторкой и как мощная машина сопя, он писал своим неопрятным почерком со школьными кляксами передовую статью: «Час от Часу не Легче» или «Положение в Китае». Вдруг задумавшись, он со звуком железного скребка чесал одним пальцем большую бородатую щеку, приподнятую к сощуренному глазу, над которым нависла характерная, до сих пор еще в России не забытая, черная, без седины, разбойничья бровь. Около окна (за которым был такой же высокий, многоконторный дом, с ремонтом, шедшим так высоко в небе, что казалось, можно было заодно починить серую, с рваным отверстием, тучу) стояла ваза с полутора апельсинами и аппетитная крыночка болгарской простокваши, а в книжном шкапу, в нижнем, закрытом отделении, хранились запретные сигары и большое сине-красное сердце. Старый хлам советских журналов, книжонки с лающими обложками, письма – просительные, напоминающие, поносительные, – выжатая половинка апельсина, лист газеты с вырезанным в Европу окном, зажимчики, карандаши, – все это занимало письменный стол, а над этим непоколебимо стоял, слепо отражая свет окна, фотографический портрет дочки Васильева, жившей в Париже, молодой женщины с очаровательным плечом и дымчатыми волосами, фильмовой неудачницы, – о которой, впрочем, часто упоминалось в кинохронике «Газеты»: «...наша талантливая соотечественница Сильвина Ли...» – хотя никто не знал соотечественницы.

Добродушно принимая стихи Федора Константиновича, Васильев помещал их не потому, что они ему нравились (он обыкновенно даже их не прочитывал), а потому, что ему было решительно все равно, чем украшается неполитическая часть «Газеты». Выяснив раз навсегда тот уровень грамотности, ниже которого данный сотрудник не может спуститься по натуре, Васильев предоставлял ему полную волю, даже если данный уровень едва возвышался над

нулем. Стихи же, будучи мелочью, вообще проходили почти без контроля, просачиваясь там, где задержалась бы дрянь большего веса и объема. Зато какой стоял счастливый, взволнованный писк во всех наших поэтических павильонах, от Латвии до Ривьеры, когда появлялся номер! Мои напечатаны! И мои! Сам Федор Константинович, считавший, что у него только один соперник – Кончеев (в «Газете», кстати, не участвовавший), соседями не тяготился, а радовался своим стихам не меньше других. Бывали случаи, когда он не мог дождаться вечерней почты, с которой номер приходил, а покупал его за полчаса на улице и, бесстыдно, едва отойдя от киоска, ловя красноватый свет около лотков, где горели горы апельсинов в синеве ранних сумерек, разворачивал газету – и, бывало, не находил: что-нибудь вытеснило; если же находил, то, собрав удобнее листы и тронувшись по панели, перечитывал свое несколько раз, на разные внутренние лады, то есть поочередно представляя себе, как его стихотворение будут читать, может быть сейчас читают, все те, чье мнение было ему важно, – и он почти физически чувствовал, как при каждом таком перевоплощении у него меняется цвет глаз, и цвет заглазый, и вкус во рту, – и чем ему самому больше нравился дежурный шедевр, тем полнее и слаще ему удавалось перечесть его за других.

Проваландав таким образом лето, родив, воспитав и разлюбив навеки дюжины две стихотворений, в ясный и прохладный день, в субботу (вечером будет собрание), он отправился за важной покупкой. Опавшие листья лежали на панели не плоско, а корбясь, жухло, так что под каждым торчал синий уголок тени. Из своей пряничной, с леденцовыми оконцами, хибарки вышла старушка с метлой, в чистом переднике, с маленьким острым лицом и непомерно огромными ступнями. Да, осень! Он шел весело, все было отлично: утро принесло письмо от матери, собиравшейся на Рождество его посетить, и сквозь распадавшуюся летнюю обувь он необыкновенно живо осязал землю, когда проходил по немощенной части, вдоль пустынных, отзывающих гарью, огородных участков между домов, обращенных к ним срезанной чернотой капитальных стен, и там, перед сквозными беседками, виднелась капуста, осыпанная стеклярусом крупных капель, и голубоватые стебли отцветших гвоздик, и подсолнухи, склонившие тяжелые морды. Он давно хотел как-нибудь выразить, что чувство России у него в ногах, что он мог бы пятками ощупать и узнать ее всю, как слепой ладонями. И жалко было, когда окончилась полоса жирноватой коричневой земли и пришлось опять шагать по звонким тротуарам.

Молодая женщина в черном платье, с блестящим лбом и быстрыми рассеянными глазами, в восьмой раз села у его ног, боком на табуретку, проворно вынула из шелестнувшей внутренности картонки узкий башмак, с легким скрипом размяла, сильно расправив локти, его края, быстро разобрала завязки, взглянув мельком в сторону, и затем, достав из лона рожок, обратилась к большой, застенчивой, плохо заштопанной ноге Федора Константиновича. Нога чудом вошла, но, войдя, совершенно ослепла: шевеление пальцев внутри никак не отражалось на внешней глади тесной черной кожи. Продавщица с феноменальной скоростью завязала концы шнурка – и тронула носок башмака двумя пальцами. «Как раз! – сказала она. – Новые всегда немножко... – продолжала она поспешно, вскинув карие глаза. – Конечно, если хотите, можно подложить косок под пятку. Но они – как раз, убедитесь сами!» И она повела его к рентгеноскопу, показала, куда поставить ногу. Взглянув в оконце вниз, он увидел на светлом фоне свои собственные, темные, аккуратно-раздельно лежавшие суставчики. Вот этим я ступлю на брег с парома Харона. Обув и левый башмак, он прогулялся взад и вперед по ковру, косясь на щиколодное зеркало, где отражался его похорошевший шаг и на десять лет постаревшая штанина. «Да, – хорошо», – сказал он малодушно. В детстве царапали крючком блестящую черную подошву, чтобы не было скользко. Он унес их на урок под мышкой, вернулся домой, поужинал, надел их, опасливо ими любясь, и пошел на собрание.

Как будто, пожалуй, и ничего, – для мучительного начала.

Собрание происходило в небольшой, трогательно роскошной квартире родственников Любови Марковны. Рыжая, в зеленом выше колен, барышня помогала (громким шепотом с

ней говорившей) эстонской горничной разносить чай. Среди знакомой толпы, где новых лиц было немного, Федор Константинович тотчас завидел Кончеева, впервые пришедшего в кружок. Глядя на сутулую, как будто даже горбатую фигуру этого неприятно тихого человека, таинственно разраставшийся талант которого только дар Изоры мог бы пресечь, – этого все понимающего человека, с которым еще никогда ему не довелось потолковать по-настоящему – а как хотелось – и в присутствии которого он, страдая, волнуясь и безнадежно скликая собственные на помощь стихи, чувствовал себя лишь его современником, – глядя на это молодое, рязанское, едва ли не простоватое, даже старомодно-простоватое лицо, сверху ограниченное кудрей, а снизу крахмальными отворотцами, Федор Константинович сначала было приуныл... Но три дамы с дивана ему улыбались, Чернышевский издал по-турецки кланялся ему, Гец как знамя поднимал принесенную для него книжку журнала с «Началом Поэмы» Кончеева и статьей Христофора Мортуса «Голос Мэри в современных стихах». Кто-то сзади произнес с ответной объясняющей интонацией: Годунов-Чердынцев. «Ничего, ничего, – быстро подумал Федор Константинович, усмехаясь, осматриваясь и стуча папиросой о деревянный с орлом портсигар, – ничего, мы еще покнемся, посмотрим, чье разобьется». Тамара указывала ему на свободный стул, и, пробираясь туда, он опять как будто услышал звон своего имени. Когда молодые люди его лет, любители стихов, провожали его, бывало, тем особенным взглядом, который ласточкой скользит по зеркальному сердцу поэта, он ощущал в себе холодок бодрой живительной гордости: это был предварительный проблеск его будущей славы, но была и слава другая, земная, – верный отблеск прошедшего: не менее, чем вниманием ровесников, он гордился любопытством старых людей, видящих в нем сына знаменитого землепроходца, отважного чудака, исследователя фауны Тибета, Памира и других синих стран.

«Вот, – сказала со своей росистой улыбкой Александра Яковлевна, – познакомьтесь».

Это был недавно выбывший из Москвы некто Сковрцов, приветливый, с лучиками у глаз, с носом дулей и жидкой бородкой, с чистенькой, моложавой, певуче-говорливой женой в шелковой шали, – словом, чета того полупрофессорского типа, который так хорошо был знаком Федору Константиновичу по воспоминаниям о людях, мелькавших вокруг отца. Сковрцов любезно и складно заговорил о том, как его поражает полная неосведомленность за границей в отношении к обстоятельствам гибели Константина Кирилловича: «Мы думали, – вставила жена, – что если у нас не знают, так это в порядке вещей». – «Да, – продолжал Сковрцов, – со страшной ясностью вспоминаю сейчас, как мне довелось однажды быть на обеде в честь вашего батюшки и как остроумно выразился Козлов, Петр Кузьмич, что Годунов-Чердынцев, дескать, почитает Центральную Азию своим отъезжим полем. Да... Я думаю, что вас еще тогда не было на свете».

Тут Федор Константинович вдруг заметил скорбно-проникновенный, обремененный сочувствием взгляд Чернышевской, направленный на него, – и, сухо перебив Сковрцова, стал его без интереса расспрашивать о России. «Как вам сказать...» – отвечал тот.

«Здравствуйте, Федор Константинович, здравствуйте, дорогой», – крикнул поверх его головы, хотя уже пожимая ему руку, движущийся, протискивающийся, похожий на раскормленную черепаху адвокат – и уже приветствовал кого-то другого. Но вот поднялся со своего места Васильев и, на мгновение опершись о столешницу легким прикосновением пальцев, свойственным приказчикам и ораторам, объявил собрание открытым. «Господин Буш, – добавил он, – прочтет нам свою новую, свою философскую трагедию».

Герман Иванович Буш, пожилой, застенчивый, крепкого сложения, симпатичный рижанин, похожий лицом на Бетховена, сел за столик амбир, гулко откашлялся, развернул рукопись; у него заметно дрожали руки и продолжали дрожать во все время чтения.

Уже в самом начале наметился путь беды. Курьезное произношение чтеца было несовместимо с темнотою смысла. Когда, еще в прологе, появился идущий по дороге Одинокый Спутник, Федор Константинович напрасно понадеялся, что это метафизический парадокс,

а не предательский ляпсус. Начальник Городской Стражи, ходока не пропуская, несколько раз повторил, что он «наверное не пройдет». Городок был приморский (Спутник шел из Hinterland'a¹²), и в нем пьянствовал экипаж греческого судна. Происходил такого рода разговор на Улице Греха:

Первая Проститутка

Всё есть вода. Так говорит гость мой Фалес.

Вторая Проститутка

Всё есть воздух, сказал мне юный Анаксимен.

Третья Проститутка

Всё есть число. Мой лысый Пифагор не может ошибиться.

Четвертая Проститутка

Гераклит ласкает меня, шептая: всё есть огонь.

Спутник (входит)

Всё есть судьба.

Кроме того, было два хора, из которых один каким-то образом представлял собой волну физика де Бройля и логику истории, а другой, хороший хор, с ним спорил. «Первый матрос, второй матрос, третий матрос», – нервным, с мокрыми краями, баском пересчитывал Буш беседующих лиц. Появились какие-то: Торговка Лилий, Торговка Фиалок и Торговка Разных Цветов. Вдруг что-то колыхнулось: в публике начались осыпи.

Вскоре установились силовые линии по разным направлениям через все просторное помещение, – связь между взглядами трех-четырех, потом пяти-шести, а там и десяти людей, что составляло почти четверть собрания. Кончеев медленно и осторожно взял с этажерки, у которой сидел, большую книгу (Федор Константинович заметил, что это альбом персидских миниатюр) и, все так же медленно поворачивая ее то так, то сяк на коленях, начал ее тихо и близоруко рассматривать. У Чернышевской был удивленный и оскорбленный вид, но вследствие своей тайной этики, как-то связанной с памятью сына, она заставляла себя слушать. Буш читал быстро, его лоснящиеся скулы вращались, горела подковка в черном галстук, а ноги под столиком стояли носками внутрь, – и чем глубже, сложнее и непонятнее становилась идиотская символика трагедии, тем ужаснее требовал выхода мучительно сдерживаемый, подземно-бьющийся клетот, и многие уже нагибались, боясь смотреть, и когда на площади начался Танец **Масков**, то вдруг кто-то – Гец – кашлянул, и вместе с кашлем вырвался какой-то добавочный вопль, и тогда Гец закрылся ладонями, а погода из-за них опять появился, с бессмысленно-ясным лицом и мокрой лысиной, между тем как на диване, за спиной Любви Марковны, Тамара просто легла и каталась в родовых муках, а лишенный прикрытия Федор Константинович обливался слезами, изнемогая от вынужденной беззвучности происходившего в нем. Внезапно Васильев так тяжело повернулся на стуле, что он неожиданно треснул, поддалась ножка, и Васильев рванулся, переменявшись в лице, но не упал, – и это малосмешное происшествие явилось предлогом для какого-то звериного, ликующего взрыва, прервавшего чтение, и покуда Васильев переселялся на другой стул, Герман Иванович Буш, наморщив великолепный, но совершенно недоходный лоб, что-то в рукописи отмечал карандашиком, и

¹² Внутренняя территория или часть страны (нем.).

среди облегченного затишья неизвестная дама еще отдельно простонала что-то, но уже Буш приступал к дальнейшему чтению:

Торговка Лилий

Ты сегодня чем-то огорчаешься, сестрица.

Торговка Разных Цветов

Да, мне гадалка сказала, что моя дочь выйдет замуж за вчерашнего прохожего.

Дочь

Ах, я даже его не заметила.

Торговка Лилий

И он не заметил ее.

«Слушайте, слушайте!» – вмешался хор, вроде как в английском парламенте.

Опять произошло небольшое движение: началось через всю комнату путешествие пустой папиросной коробочки, на которой толстый адвокат написал что-то, и все наблюдали за этапами ее пути, написано было, верно, что-то чрезвычайно смешное, но никто не читал, она честно шла из рук в руки, направляясь к Федору Константиновичу, и когда наконец добралась до него, то он прочел на ней: «Мне надо будет потом переговорить с вами о маленьком деле».

Последнее действие подходило к концу. Федора Константиновича незаметно покинул бог смеха, и он раздумчиво смотрел на блеск башмака. С парома на холодный берег. Правый жал больше левого. Кончеев, полуоткрыв рот, досматривал альбом. «Занавес», – воскликнул Буш с легким ударением на последнем слоге.

Васильев объявил перерыв. У большинства был помятый и размаянный вид, как после ночи в третьем классе. Буш, свернув трагедию в толстую трубку, стоял в дальнем углу, и ему казалось, что в гуле голосов все расходятся круги от только что слышанного; Любовь Марковна предложила ему чаю, и тогда его могучее лицо вдруг беспомощно подобрело, и он, блаженно облизнувшись, наклонился к поданному стакану. Федор Константинович с каким-то испугом смотрел на это издали, а за собой различал:

«Скажите, что это такое?» (гневный голос Чернышевской).

«Ну что ж, бывает, ну, знаете...» (виновато-благодарный Васильев).

«Нет, я вас спрашиваю, что это такое?»

«Да что ж я, матушка, могу?»

«Но вы же читали раньше, он вам приносил в редакцию? Вы же говорили, что это серьезная, интересная вещь. Значительная вещь».

«Да, конечно, первое впечатление, пробежал, знаете, – не учел, как будет звучать... Попался! Я сам удивляюсь. Да вы пойдите к нему, Александра Яковлевна, скажите ему что-нибудь».

Федора Константиновича взял повыше локтя адвокат. «Вас-то мне и нужно. Мне вдруг пришла мысль, что это что-то для вас. Ко мне обратился клиент, ему требуется перевести на немецкий кое-какие свои бумаги для бракоразводного процесса, не правда ли. Там, у его немцев, которые дело ведут, служит одна русская барышня, но она, кажется, сумеет сделать только часть, надо еще помощника. Вы бы взяли за это? Дайте-ка я запишу ваш номер. Гемахт».

«Господа, прошу по местам, – раздался голос Васильева. – Сейчас начнутся прения по поводу заслушанного. Прошу желающих записываться».

Федор Константинович вдруг увидел, что Кончеев, сутулясь и заложив руку за борт пиджака, извилисто пробирается к выходу. Он последовал за ним, едва не забыв своего журнала. В передней к ним присоединился старичок Ступишин, часто переезжавший с квартиры на квартиру, но живший всегда в таком отдалении от города, что эти важные, сложные для него перемены происходили, казалось, в эфире, за горизонтом забот. Накинув на шею серо-полосатый шарфик, он по-русски задержал его подбородком, по-русски же влезая толчками спины в пальто.

«Порадовал, нечего сказать», – проговорил он, пока они спускались в сопровождении горничной.

«Я, признаться, плохо слушал», – заметил Кончеев.

Ступишин пошел ждать какой-то редкий, почти легендарный номер трамвая, а Годунов-Чердынцев и Кончеев направились вместе в другую сторону, до угла.

«Какая скверная погода», – сказал Годунов-Чердынцев.

«Да, совсем холодно», – согласился Кончеев.

«Паршиво... Вы живете в каких же краях?»

«А в Шарлоттенбурге».

«Ну, это не особенно близко. Пешком?»

«Пешком, пешком. Кажется, мне тут нужно – —»

«Да, вам направо, мне – напрямик».

Они простились. Фу, какой ветер...

«...Но постойте, постойте, я вас провожу. Вы, поди, полуночник, и не мне, стать, учить вас черному очарованию каменных прогулок. Так вы не слушали бедного чтеца?»

«Вначале только – и то вполуха. Однако я вовсе не думаю, что это было так уж скверно».

«Вы рассматривали персидские миниатюры. Не заметили ли вы там одной – разительное сходство! – из коллекции петербургской публичной библиотеки – ее писал, кажется, Riza Abbasi, лет триста тому назад: на коленях, в борьбе с драконятами, носатый, уса́тый... Сталин».

«Да, это, кажется, самый крепкий. Кстати, мне сегодня попало́сь в „Газете“, – не знаю уж, чей грех: „На Тебе, **Боже**, что мне негоже“. Я в этом усматриваю обожествление калик».

«Или память о каиновых жертвоприношениях».

«Сойдемся на плутнях звательного падежа, – и поговорим лучше „о Шиллере, о подвигах, о славе“, – если позволите маленькую амальгаму. Итак, я читал сборник ваших очень замечательных стихов. Собственно, это только модели ваших же будущих романов».

«Да, я мечтаю когда-нибудь произвести такую прозу, где бы „мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни“».

«Благодарю за учтивую цитату. Вы как – по-настоящему любите литературу?»

«Полагаю, что да. Видите ли, по-моему, есть только два рода книг: настольный и под-
стольный. Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком».

«Э, да вы строги. Не опасно ли это? Не забудьте, что как-никак вся русская литература, литература одного века, занимает – после самого снисходительного отбора – не более трех – трех с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола. При такой количественной скудости нужно мириться с тем, что наш пегас пег, что не все в дурном писателе дурно, а в добром не все добро».

«Дайте мне, пожалуй, примеры, чтобы я мог опровергнуть их».

«Извольте: если раскрыть Гончарова или – —»

«Стойте! Неужто вы желаете помянуть добрым словом Обломова? „Россию погубили два Ильича“, – так, что ли? Или вы собираетесь поговорить о безобразной гигиене тогдашних любовных падений? Кринолин и сырая скамья? Или, может быть, – стиль? Помните, как у Райского в минуты задумчивости переливается в губах розовая влага? – точно так же, скажем, как герои Писемского в минуту сильного душевного волнения рукой растирают себе грудь?»

«Тут я вас уловлю. Разве вы не читали у того же Писемского, как лакеи в передней во время бала перекидываются страшно грязным, истоптанным плисовым женским сапогом? Ага! Вообще, коли уж мы попали в этот второй ряд – Что вы скажете, например, о Лескове?»

«Да что ж... У него в слогe попадаются забавные англицизмы, вроде „это была дурная вещь“ вместо „плохо дело“. Но всякие там нарочитые „аболоны“... – нет, увольте, мне не смешно. А многословие... матушки! „Соборян“ без урона можно было бы сократить до двух газетных подвалов. И я не знаю, что хуже – его добродетельные британцы или добродетельные попы».

«Ну, а все-таки. Галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы? Или пасть пса с синеватым, точно напoмаженным, зевом? Или молния, ночью освещающая подробно комнату, – вплоть до магнeзии, осевшей на серебряной ложке?»

«Отмечаю, что у него латинское чувство синевы: *lividus*¹³. Лев Толстой, тот был больше насчет лилового, – и какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком! Я, конечно, не должен был их покупать».

«Вы правы, жмут нестерпимо. Но мы перешли в первый ряд. Разве там вы не найдете слабостей? „Русалка“ – —»

«Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы. А вон там, в чеховской корзине, провиант на много лет вперед, да щенок, который делает „уюм, уюм, уюм“, да бутылка крымского».

«Погодите, вернемся к дедам. Гоголь? Я думаю, что мы весь состав его пропустим. Тургенев? Достоевский?»

«Обратное превращение Бедлама в Вифлеем, – вот вам Достоевский. „Оговорюсь“, как выражается Мортус. В Карамазовых есть круглый след от мокрой рюмки на садовом столе, это сохранить стоит, – если принять ваш подход».

«Так неужели ж у Тургенева все благополучно? Вспомните эти дурацкие тэтатэты в акатниках? Рычание и трепет Базарова? Его совершенно неубедительная возня с лягушками? И вообще – не знаю, переносите ли вы особую интонацию тургеневского многоточия и жеманное окончание глав? Или всё простим ему за серый отлив черных шелков, за русачью полежку иной его фразы?»

«Мой отец находил вопиющие ошибки в его и толстовских описаниях природы, и уж про Аксакова нечего говорить, добавлял он, – это стыд и срам».

«Быть может, если мертвые тела убраны, мы примемся за поэтов? Как вы думаете? Кстати, о мертвых телах. Вам никогда не приходило в голову, что лермонтовский „знакомый труп“ – это безумно смешно, ибо он, собственно, хотел сказать „труп знакомого“, – иначе ведь непонятно: знакомство посмертное контекстом не оправдано».

«У меня все больше Тютчев последнее время ночует».

«Славный постоялец. А как вы насчет ямба Некрасова – нету на него позыва?»

«Как же. Давайте-ка мне это рыданице в голосе: загорodись двойною рамою, напрасно горниц не студи, простись с надеждою упрямою и на дорогу не гляди. Кажется, дактилическую рифму я сам ему выпел, от избытка чувств, – как есть особый растяжной перебор у гитаристов. Этого Фет лишен».

«Чувствую, что тайная слабость Фета – рассудочность и подчеркивание антитез – от вас не скрылась?»

«Наши общественно настроенные олухи понимали его иначе. Нет, я все ему прощаю за прозвенело в померкшем лугу, за росу счастья, за дышащую бабочку».

«Переходим в следующий век: осторожно, ступенька. Мы с вами начали бредить стихами рано, не правда ли? Напомните мне, как это все было? „Как дышат края облаков...“ Боже мой!»

¹³ Синеватый, сине-серый (лат.).

«Или освещенные с другого бока „Облака небывалой улады“. О, тут разборчивость была бы преступлением. Мое тогдашнее сознание воспринимало восхищенно, благодарно, полностью, без критических затей, всех пятерых, начинающих на „Б“, – пять чувств новой русской поэзии».

«Интересно, которому именно вы отводите вкус. Да-да, я знаю, есть афоризмы, которые, как самолеты, держатся только пока находятся в движении. Но мы говорили о заре... С чего у вас началось?»

«С прозрения азбуки. Простите, это звучит изломом, но дело в том, что у меня с детства в сильнейшей и подробнейшей степени *audition colorée*¹⁴».

«Так что вы могли бы тоже – —»

«Да, но с оттенками, которые ему не снились, – и не сонет, а толстый том. К примеру: различные, многочисленные „а“ на тех четырех языках, которыми владею, вижу едва ли не в стольких же тонах – от лаково-черных до занозисто-серых – сколько представляю себе сортов поделочного дерева. Рекомендую вам мое розовое фланелевое „м“. Не знаю, обращали ли вы когда-либо внимание на вату, которую изымали из майковских рам? Такова буква „ы“, столь грязная, что словам стыдно начинаться с нее. Если бы у меня были под рукой краски, я бы вам так смешал *sienne brûlée*¹⁵ и сепию, что получился бы цвет гуттаперчевого „ч“; и вы бы оценили мое сияющее „с“, если я мог бы вам насыпать в горсть тех светлых сапфиров, которые я ребенком трогал, дрожа и не понимая, когда моя мать, в бальном платье, плача навзрыд, переливала свои совершенно небесные драгоценности из бездны в ладонь, из шкатулок на бархат, и вдруг всё запирала, и никуда не ехала, несмотря на бешеные уговоры ее брата, который шагал по комнатам, давая щелчки мебели и пожимая эполетами, и если отодвинуть в боковом окне фонаря штору, можно было видеть вдоль набережных фасадов в синей черноте ночи изумительно неподвижные, грозно-алмазные вензеля, цветные венцы...»

«*Buchstaben von Feuer*¹⁶, одним словом... Да, я уже знаю наперед. Хотите, я вам доскажу эту банальную и щемящую душу повесть? Как вы упивались первыми попавшимися стихами. Как в десять лет писали драмы, а в пятнадцать элегии, – и всё о закатах, закатах... И медленно пройдя меж пьяными... Кстати, кто она была такая?»

«Молодая замужняя женщина. Продолжалось неполных два года, до бегства из России. Она была так хороша, так мила – знаете, большие глаза и немного костлявые руки, – что я как-то до сих пор остался ей верен. От стихов она требовала только ямщикнегонилошадейности, обожала играть в покер, а погибла от сыпного тифа – Бог знает где, Бог знает как...»

«А теперь что будет? Стоит, по-вашему, продолжать?»

«Еще бы! До самого конца. Вот и сейчас я счастлив, несмотря на позорную боль в ногах. Признаться, у меня опять началось это движение, волнение... Я опять буду всю ночь...»

«Покажите. Посмотрим, как это получается: вот этим с черного паром сквозь (вечно?) тихо падающий снег (во тьме в незамерзающую воду отвесно падающий снег) (в обычную?) летеysкую погоду вот этим я ступлю на брег. Не разбазарьте только волнения».

«Ничего... И вот посудите, как же тут не быть счастливым, когда лоб горит...»

«...как от излишка укуса в винограде. Знаете, о чем я сейчас подумал: ведь река-то, собственно, – Стикс. Ну да ладно. Дальше. И к пристающему парому сук тянется, и медленным багром (Харон) паромщик тянется к суку сырому (кривому)...»

«...и медленно вращается паром. Домой, домой. Мне нынче хочется сочинять с пером в пальцах. Какая луна, как черно пахнет листьями и землей из-за этих решеток».

¹⁴ Цветной слух (фр.)

¹⁵ Сиена жженая (фр.).

¹⁶ Огненные буквы (нем.).

«Да, жалко, что никто не подслушал блестящей беседы, которую мне хотелось бы с вами вести».

«Ничего, не пропадет. Я даже рад, что так вышло. Кому какое дело, что мы расстались на первом же углу и что я веду сам с собою вымышленный диалог по самоучителю вдохновения».

Глава вторая

Еще летал дождь, а уже появилась, с неуловимой внезапностью ангела, радуга: сама себе томно дивясь, розово-зеленая, с лиловой поволокой по внутреннему краю, она повисла за скошенным полем, над и перед далеким леском, одна доля которого, дрожа, просвечивала сквозь нее. Редкие стрелы дождя, утратившего и строй, и вес, и способность шуметь, невпопад, так и смяк вспыхивали на солнце. В омытом небе, сияя всеми подробностями чудовищно сложной лепки, из-за вороного облака выпрастывалось облако упоительной белизны.

«Ну вот, прошло», – сказал он вполголоса и вышел из-под навеса осин, столпившихся там, где жирная, глинистая, «земская» (какой ухаб был в этом прозвании!) дорога спускалась в ложбинку, собрав в этом месте все свои колеи в продолговатую выбоину, до краев налитую густым кофе со сливками.

Милая моя! Образчик элизейских красок! Отец однажды, в Ордосе, поднимаясь после грозы на холм, ненароком вошел в основу радуги, – редчайший случай! – и очутился в цветном воздухе, в играющем огне, будто в раю. Сделал еще шаг – и из рая вышел.

Она уже бледнела. Дождь совсем перестал, пекло, овод с шелковыми глазами сел на рукав. В роще закуковала кукушка, тупо, чуть вопросительно: звук вздувался куполком и опять – куполком, никак не разрешаясь. Бедная толстая птица, вероятно, перелетела дальше, ибо все повторялось сызнова, вроде уменьшенного отражения (искала, что ли, где получается лучше, грустнее?). Громадная, плоская на лету бабочка, иссиня-черная с белой перевязью, описав сверхъестественно-плавную дугу и опустившись на сырую землю, сложилась, тем самым исчезла. Такую иной раз приносит, зажав ее обеими руками в картуз, сопящий крестьянский мальчишка. Такая взмывает из-под семенящих копыт примерной докторской поньки, когда доктор, держа на коленях почти ненужные вожжи, а то просто прикрутив их к передку, задумчиво едет тенистой дорогой в больницу. А изредка четыре черно-белых крыла с кирпичной изнанкой находишь рассыпанными, как игральные карты, на лесной тропе: остальное съела неизвестная птица.

Он перепрыгнул лужу, где два навозных жука, мешая друг другу, цеплялись за соломинку, и отпечатал на краю дороги подошву: многозначительный след ноги, все глядящий вверх, все видящий исчезнувшего человека. Идя полем, один, под дивно несущимися облаками, он вспомнил, как с первыми папиросами в первом портсигаре подошел тут к старому косарю, попросил огня; мужик из-за тощей пазухи вынул коробок, дал его без улыбки, – но дул ветер, спичка за спичкой гасла, едва вспыхнув, – и после каждой становилось все совестнее, а тот смотрел с каким-то отвлеченным любопытством на торопливые пальцы расточительного барчука.

Он углубился в лесок; по тропе проложены были мостки, черные, склизкие, в рыжих сережках и приставших листках. Кто это выронил сыроежку, разбившую свой белый веерок? В ответ донеслось ауканье: девчонки собирали грибы, чернику – кажущуюся в корзине настолько темнее, чем на своих кустиках! Среди берез была одна издавна знакомая – с двойным стволом, береза-лира, и рядом старый столб с доской, на ней ничего нельзя было разобрать кроме следов пуль, – как-то в нее палил из браунинга гувернер-англичанин, тоже Браунинг, а потом отец взял у него пистолет, мгновенно-ловко вдавил в обойму пули и семью выстрелами выбил ровное К.

Дальше, на болотце, запросто цвела ночная фиалка, за ним пришлось пересечь проезжую дорогу, – и справа забелелась калитка: вход в парк. Извне отороченный папоротником, снутри пышно подбитый жимолостью и жасмином, там омраченный хвоей елей, тут озаренный листвою берез, громадный, густой и многодорожный, он весь держался на равновесии солнца и тени, которые от ночи до ночи образовали переменную, но в своей переменности одному ему принадлежащую гармонию. Если на аллее, под ногами, колебались кольца горячего света,

то вдалеке непременно протягивалась поперек толстая бархатная полоса, за ней опять – оранжевое решето, а уже дальше, в самой глубине, густела живая чернота, которая при передаче удовлетворяла глаз акварелиста лишь покуда краски были еще мокры, так что приходилось накладывать слой за слоем, чтобы удержать красоту – тут же умирающую. К дому приводили все тропинки, – но, вопреки геометрии, ближайшим путем казалась не прямая аллея, стройная и холёная, с чуткой тенью (как слепая, поднимавшейся навстречу, чтобы ощупать тебе лицо) и со взрывом изумрудного солнца в самом конце, а любая из соседних, извилистых и невыполотых. Он шел к еще невидимому дому по любимой из них, мимо скамьи, на которой по установившейся традиции сживали родители накануне очередного отбытия отца в путешествие: отец – расставив колени, вертя в руках очки или гвоздику, опустив голову, с канотье, сдвинутым на затылок, и с молчаливой, чуть насмешливой улыбкой около прищуренных глаз и в мягких углах губ, где-то у самых корней бородки; а мать – говорящая ему что-то, сбоку, снизу, из-под большой дрожащей белой шляпы, или кончиком зонтика выдавливающая хрустящие ямки в безответном песке. Он шел мимо валуна со взлезшими на него рябинками (одна обернулась, чтобы подать руку меньшей), мимо заросшей травой площадки, бывшей в дедовские времена прудком, мимо низеньких елок, зимой становившихся совершенно круглыми под бременем снега: снег падал прямо и тихо, мог падать так три дня, пять месяцев, девять лет, – и вот уже впереди, в усеянном белыми мушками просвете, наметилось приближающееся мутное, желтое пятно, которое, вдруг попав в фокус, дрогнув и уплотнившись, превратилось в вагон трамвая, и мокрый снег полетел косо, заклепывая левую грань стеклянного столба остановки, но асфальт оставался черен и гол, точно по природе своей неспособен был принять ничего белого, и среди плывущих в глазах, сначала даже непонятных надписей над аптекарскими, писчебумажными, колониальными лавками только одна-единственная могла еще казаться написанной по-русски: **Какао**, – между тем как кругом все только что воображенное с такой картинной ясностью (которая сама по себе была подозрительна, как яркость снов в неурочное время дня или после снотворного) бледнело, разъедалось, рассыпалось, и если оглянуться, то – как в сказке исчезают ступени лестницы за спиной поднимающегося по ней – все проваливалось и пропадало, – прощальное сочетание деревьев, стоявших как провожающие и уже уносимых прочь, полинявший в стирке клочок радуги, дорожка, от которой остался только жест поворота, трехкрылая, без брюшка, бабочка на булавке, гвоздика на песке, около тени скамейки, – еще какие-то самые последние, самые стойкие мелочи, – и еще через миг все это без борьбы уступило Федора Константиновича его настоящему, и, прямо из воспоминания (быстрого и безумного, находившего на него как припадок смертельной болезни в любой час, на любом углу), прямо из оранжевого рая прошлого он пересел в берлинский трамвай.

Он ехал на урок, как всегда опаздывал, и, как всегда, в нем росла смутная, скверная, тяжелая ненависть и к неуклюжей медлительности этого бездарнейшего из всех способов передвижения, и к безнадежно знакомым, безнадежно некрасивым улицам, шедшим за мокрым окном, а главное – к ногам, бокам, затылкам туземных пассажиров. Он рассудком знал, что среди них могут быть и настоящие, вполне человеческие особи, с бескорыстными страстями, чистыми печалью, даже с воспоминаниями, просвечивающими сквозь жизнь, – но почему-то ему сдавалось, что все эти скользкие, холодные зрачки, посматривающие на него так, словно он провозил незаконное сокровище (как, в сущности, оно и было), принадлежат лишь гнусным кумушкам и гнилым торгашам. Русское убеждение, что в малом количестве немец пошел, а в большом – пошел нестерпимо, было, он знал это, убеждением, недостойным художника; а все-таки его пробирала дрожь, – и только угрюмый кондуктор с загнанными глазами и пластырем на пальце, вечно мучительно ищущий равновесия и прохода среди судорожных толчков вагона и скотской тесноты стоящих, внешне казался если не человеком, то хоть бедным родственником человека. На второй остановке перед Федором Константиновичем сел сухощавый, в полупальто с лисьим воротником, в зеленой шляпе и потрепанных гетрах, мужчина, – севши,

толкнул его коленом да углом толстого, с кожаной хваткой, портфеля – и тем самым обратил его раздражение в какое-то ясное бешенство, так что, взглянув пристально на сидящего, читая его черты, он мгновенно сосредоточил на нем всю свою грешную ненависть (к жалкой, бедной, вымирающей нации) и отчетливо знал, за что ненавидит его: за этот низкий лоб, за эти бледные глаза; за фольмилх и экстраштарк – подразумевающие законное существование разбавленного и поддельного; за полишинелевый строй движений, – угрозу пальцем детям – не как у нас стойком стоящее напоминание о небесном Суде, а символ колеблющейся палки, – палец, а не перст; за любовь к частоколу, ряду, заурядности; за культ конторы; за то, что если прислушаться, что у него говорится внутри (или к любому разговору на улице), неизбежно услышишь цифры, деньги; за дубовый юмор и пипифаксовый смех; за толщину задов у обоого пола, – даже если в остальной своей части субъект и не толст; за отсутствие брезгливости; за видимость чистоты – блеск кастрюльных днищ на кухне и варварскую грязь ванных комнат; за склонность к мелким гадостям, за аккуратность в гадостях, за мерзкий предмет, аккуратно нацепленный на решетку сквера; за чужую живую кошку, насквозь проткнутую в отместку соседу проволокой, к тому же ловко закрученной с конца; за жестокость во всем, самодовольную, как-же-иначе; за неожиданную восторженную услужливость, с которой человек пять прохожих помогают тебе подбирать оброненные гроши; за... Так он нанизывал пункты пристрастного обвинения, глядя на сидящего против него – покуда тот не вынул из кармана номер васьилевской «Газеты», равнодушно кашлянув с русской интонацией.

«Вот это славно», – подумал Федор Константинович, едва не улыбнувшись от восхищения. Как умна, изящно лукава и, в сущности, добра жизнь! Теперь в чертах читавшего газету он различал такую отечественную мягкость – морщины у глаз, большие ноздри, по-русски подстриженные усы, – что сразу стало и смешно, и непонятно, как это можно было обмануться. Его мысль ободрилась на этом нечаянном привале и уже потекла иначе. Ученик, к которому он ехал, малообразованный, но любознательный старый еврей, еще в прошлом году вдруг захотел научиться «болтать по-французски», что казалось старику и выполнимее, и свойственнее его летам, характеру, жизненному опыту, чем сухое изучение грамматики языка: эти графы переплыли эти реки. Неизменно в начале урока, кряхтя и примешивая множество русских, немецких слов к шепотке французских, он описывал свое утомление после дня работы (заведовал крупной бумажной фабрикой), и от этих длительных жалоб переходил, сразу попадая с головой в безвыходные потемки, к обсуждению – по-французски! – международной политики, причем требовал чуда: чтобы все это дикое, вязкое, тяжелое, как перевозка камней по размытой дороге, обратилось вдруг в ажурную речь. Вовсе лишенный способности запоминать слова (и любящий говорить об этом не как о недостатке, а как об интересном свойстве своей натуры), он не только не делал никаких успехов, но даже успел за год учения позабыть те несколько французских фраз, которые застал у него Федор Константинович и на основе которых старик мнил построить за три-четыре вечера свой собственный, легкий, живой, переносный Париж. Увы, бесплодно шло время, доказывая тщетность усилий, невозможность мечты, – да и преподаватель попался неопытный, совершенно терявшийся, когда бедному фабриканту вдруг требовалась точная справка (как по-французски «ровница»?), от которой, впрочем, спрашивающий тотчас из деликатности отказывался, и оба приходили в минутное смущение, как в старой идиллии невинные юноша и дева, невзначай коснувшиеся друг друга. Мало-помалу становилось невыносимо. Оттого что ученик все удрученнее ссылался на усталость мозгов и все чаще отменял уроки (небесный голос его секретарши по телефону, – мелодия счастья!), Федору Константиновичу казалось, что тот наконец убедился в неумелости учителя, но из жалости к его поношенным штанам длит и будет длить до гроба эту взаимную пытку.

И сейчас, сидя в трамвае, он так несбыточно ярко увидел, как через семь-восемь минут войдет в знакомый, с берлинской, животной роскошью обставленный кабинет, сядет в глубокое кожаное кресло подле низкого металлического столика с открытой для него стеклянной

шкатулкой, полной папирос, и лампой в виде географического глобуса, закурит, дешево бодро закинет ногу на ногу и встретится с изнемогающим, покорным взглядом безнадежного ученика, – так живо услышит его вздох и неискоренимое «ну, вуй», которым тот уснащал свои ответы, что вдруг неприятное чувство опаздывания заменилось в душе Федора Константиновича отчетливым и каким-то нагло-радостным решением не явиться на урок вовсе, а слезть на следующей остановке и вернуться домой, к недочитанной книге, к внежитейской заботе, к блаженному туману, в котором плыла его настоящая жизнь, к сложному, счастливому, набожному труду, занимавшему его вот уже около года. Он знал, что нынче получил бы за несколько уроков плату, знал, что иначе придется опять в долг курить и обедать, но совершенно мирился с этим ради той деятельной лени (все тут, в этом сочетании), ради возвышенного прогула, который он себе разрешал. И разрешал не впервые. Застенчивый и взыскательный, живя всегда в гору, тратя все свои силы на преследование бесчисленных существ, мелькавших в нем, словно на заре в мифологической роще, он уже не мог принуждать себя к общению с людьми для заработка или забавы, а потому был беден и одинок. И, как бы назло ходячей судьбе, было приятно вспоминать, как однажды летом он не поехал на вечер в «загородной вилле» исключительно потому, что Чернышевские предупредили его, что там будет человек, который «может быть ему полезен», или как прошлой осенью не удосужился снестись с бракоразводной конторой, где требовался переводчик, – оттого что сочинял драму в стихах, оттого что адвокат, суливший ему этот заработок, был докучлив и глуп, оттого, наконец, что слишком откладывал, а потом уж не мог решиться.

Он выбрался на площадку вагона. Тотчас же ветер грубо его обыскал, после чего Федор Константинович потуже затянул поясok макинтоша, поправил шарф, – но небольшое количество трамвайного тепла было уже у него отнято. Снег валить перестал, а куда пропал – неизвестно; оставалась только вездесущая сырость, которая сказывалась и в шуршащем звуке автомобильных шин, и в каком-то по-свински резком, терзающем слух, рваном вопле рожков, и в темноте дня, дрожавшего от холода, от грусти, от омерзения к себе, и в особом желтом оттенке уже зажженных витрин, в отражениях, в отливах, в текущих огнях, – во всем этом болезненном недержании электрического света. Трамвай выехал на площадь и, мучительно затормозив, остановился, но остановился лишь предварительно, так как впереди, у каменного островка, где теснились осаждающие, застряли два других номера, оба с прицепными вагонами, и в этом косном нагромождении тоже как-то сказывалось гибельное несовершенство мира, в котором Федор Константинович все еще пребывал. Он больше не мог, он выскочил и зашагал через скользкую площадь к другой трамвайной линии, по которой обманным образом мог вернуться в свой район с тем же билетом – годным на одну пересадку, а отнюдь не на обратный путь; но честный казенный расчет, что пассажир будет ехать только в одном направлении, подрывался в некоторых случаях тем, что, при знании маршрутов, можно было прямой путь незаметно обратить в дугу, загибающуюся к отправной точке. Этой остроумной системе (приятно доказывавшей некий чисто немецкий порок в планировке трамвайных линий) Федор Константинович следовал охотно, однако по рассеянности, по неспособности длительно ласкать мыслью выгоду и думая уже о другом, машинально платил наново за билет, который намеревался сэкономить. И все-таки процветал обман, все-таки не он, а ведомство городских путей сообщения оказывалось внакладе – и притом на гораздо, гораздо большую сумму (норд-экспрессную!), чем можно было ожидать: перейдя площадь и свернув на боковую улицу, он пошел к трамвайной остановке сквозь маленькую, на первый взгляд, чащу елок, собранных тут для продажи по случаю приближавшегося Рождества; между ними образовалась как бы аллея; размахивая на ходу рукой, он кончиком пальцев задевал мокрую хвою; но вскоре аллея расширилась, ударило солнце, и он вышел на площадку сада, где, на мягком красном песке, можно было различить пометки летнего дня: отпечатки собачьих лап, бисерный след трясогузки, данлоповую полосу от Таниного велосипеда, волнисто раздвоившуюся при повороте, и впадинку от

каблука там, где она легким, немим движением, в котором была какая-то четверть пируэта, вбок соскользнула с него и сразу пошла, все держась за руль. Старый, в елочном стиле, деревянный дом, выкрашенный в бледно-зеленый цвет, с зелеными же водосточными трубами, с узорными вырезами под крышей и высоким каменным основанием (где в серой замазке мерещились словно круглые, розовые крупы замурованных коней), большой, крепкий и необыкновенно выразительный дом, с балконами на уровне липовых веток и верандами, украшенными драгоценными стеклами, плыл навстречу, облетаемый ласточками, идя на всех маркизах, чертя громоотводом по синеве, по ярким белым облакам, без конца раскрывавшим объятия. На каменных ступенях носовой веранды, в упор освещенные солнцем, сидят: отец, явно с купанья, в мохнатом полотенце чалмой, так что не видать – а хотелось бы! – его темного бобрика с проседью, низко, мыском, находящего на лоб; мать, вся в белом, глядящая прямо перед собой и как-то молодо обхватившая колени руками; рядом – Таня, в широкой блузке, с концом черной косы на ключице, опустившая гладкий пробор и держащая на руках фокстерьера, во весь рот улыбающегося от жары; повыше – невышедшая почему-то Ивонна Ивановна, черты смазаны, но ясно видна тонкая талия, кушачок, цепочка часов; боком, пониже, полулежа и опираясь головой на колени круглолицей барышни (бантики, бархатка), учившей Таню музыке, – брат отца, толстый военный врач, балагур и красавец; еще ниже – два кисленьких, исподлобья глядящих гимназиста, двоюродные братья Федора: один в фуражке, другой без, – тот, который без, убит спустя лет семь под Мелитополем; совсем низко, уже на песке, точь-в-точь в позе матери, – сам Федор, каким он был тогда, – впрочем, мало с тех пор изменившийся, белоzubый, чернобровый, коротко остриженный, в открытой рубашке. Кто снимал, забылось, но эта мгновенная, блеклая, негодная даже для переснятия и в общем незначительная (сколько было других, лучших) фотография одна чудом сбереглась и стала бесценной, доехав до Парижа в вещах матери, которая на прошлое Рождество ему и привезла ее в Берлин, – ибо теперь, выбирая сыну подарок, она руководилась уже не тем, что всего дороже приобрести, а тем, с чем всего труднее расстаться.

Она тогда приехала к нему на две недели после трехлетней разлуки, и в первое мгновение, когда, до смертельной бледности напудренная, в черных перчатках и черных чулках, в распахнутой старой котиковой шубке, она сошла по железным ступенькам вагона, поглядывая одинаково быстро то себе под ноги, то на него, и вдруг, с лицом, искаженным мукой счастья, припала к нему, блаженно мыча, целуя его в ухо, в шею, ему показалось, что красота, которой он так гордился, выцвела, но по мере того, как его зрение приспособлялось к сумеркам настоящего, столь сначала отличным от далеко отставшего света памяти, он опять узнавал в ней все, что любил: чистый очерк лица, суживающийся к подбородку, изменчивую игру зеленых, карих, желтых восхитительных глаз под бархатными бровями, легкую, длинную поступь, жадность, с которой она закурила в такси, внимание, с которым вдруг посмотрела – не ослепнув, значит, от волнения встречи, как ослепла бы всякая, – на обоими замеченный гротеск: невозмутимый мотоциклист провез в прицепной каретке бюст Вагнера; и уже когда приблизились к дому, прошлый свет догнал настоящее, пропитал его до насыщения, и все стало таким, каким бывало в этом же Берлине три года назад, как бывало когда-то в России, как бывало и будет всегда.

У фрау Стобой нашлась свободная комната, и там, в первый же вечер (раскрытый несесер, снятые кольца на мраморе умывальника), лежа на диване и быстро-быстро поедая изюм, без которого не могла прожить ни одного дня, она заговорила о том, к чему постоянно возвращалась вот уже скоро девятый год, снова повторяя – невнятно, угрюмо, стыдливо, отводя глаза, словно признаваясь в чем-то таинственном и ужасном, – что все больше верит в то, что отец Федора жив, что траур ее нелепость, что глухой вести о его гибели никто никогда не подтвердил, что он где-то в Тибете, в Китае, в плену, в заключении, в каком-то отчаянном омуте затруднений и бед, что он поправляется после долгой-долгой болезни – и вдруг, с шумом распахнув дверь и притопнув на пороге, войдет. И в еще большей мере, чем прежде, Федору от

этих слов становилось и хорошо, и страшно. Поневоле привыкнув за все эти годы считать отца мертвым, он уже чуял нечто уродливое в возможности его возвращения. Допустимо ли, что жизнь может совершить не просто чудо, а чудо, лишенное вовсе (непременно так, – иначе не вынести) малейшего оттенка сверхъестественности? Чудо этого возвращения состояло бы в его земной природе, в его уживчивости с рассудком, в немедленном введении невероятного случая в условно-понятную связь обыкновенных дней; но чем больше росло с годами требование такой естественности, тем становилось жизни труднее исполнить его, – и теперь не просто призрак было представить себе страшно, а призрак, который бы страшным не был. Бывали дни, когда Федору казалось, что внезапно на улице (есть в Берлине такие тупички, где в сумерки душа как бы расплывается) к нему подойдет, в сказочных отрепьях, нищий старик лет семидесяти, обросший до глаз бородой, и вдруг подмигнет, и скажет, как говаривал некогда: здравствуй, сыне! Отец часто являлся ему во сне, будто только что вернувшийся с какой-то чудовищной каторги, перенесший телесные пытки, о которых упоминать заказано, уже переодевшийся в чистое белье, – о теле под ним нельзя думать, – и с никогда ему не свойственным выражением неприятной, многозначительной хмурости, потный и слегка как бы оскаленный, сидящий за столом, в кругу притихшей семьи. Когда же, преодолевая ощущение фальши в самом стиле, навязываемом судьбе, он все-таки заставлял себя вообразить приезд живого отца, постаревшего, но несомненно родного, и полнейшее, убедительнейшее объяснение немого отсутствия, его охватывал, вместо счастья, тошный страх, – который, однако, тотчас исчезал, уступая чувству удовлетворенной гармонии, когда он эту встречу отодвигал за предел земной жизни.

А с другой стороны... Бывает, что в течение долгого времени тебе обещается большая удача, в которую с самого начала не веришь, так она не похожа на прочие подношения судьбы, а если порой и думаешь о ней, то как бы со снисхождением к фантазии, – но когда наконец, в очень будничный день с западным ветром, приходит известие, просто, мгновенно и окончательно уничтожающее всякую надежду на нее, то вдруг с удивлением понимаешь, что хоть и не верил, а все это время жил ею, не сознавая постоянного, домашнего присутствия мечты, давно ставшей упитанной и самостоятельной, так что теперь никак не вытолкнешь ее из жизни, не сделав в жизни дыры. Так и Федор Константинович, вопреки рассудку и не смея представить себе ее воплощения, жил привычной мечтой о возвращении отца, таинственно украшавшей жизнь и как бы поднимавшей ее выше уровня соседних жизней, так что было видно много далекого и необыкновенного, как когда его, маленького, отец поднимал под локотки, чтобы он мог увидеть интересное за забором.

После первого вечера, освежив надежду и убедившись, что в сыне та же надежда жива, Елизавета Павловна больше не упоминала о ней словесно, но, как всегда, она подразумевалась во всех их разговорах, особенно потому, что не так уж много они разговаривали вслух: часто случалось, что после нескольких минут оживленного молчания Федор вдруг замечал, что все время оба отлично знали, о чем эта двойная, как бы подтравная речь, вдруг выходившая наружу одним ручьем, обоим понятным словом. И бывало, они играли так: сидя рядом и молча про себя воображая, что каждый совершает одну и ту же лешинскую прогулку, они выходили из парка, шли дорожкой вдоль поля (слева, за ольшаником, речка), через тенистое кладбище, где кресты в пятнах солнца показывали руками размер чего-то пребольшего и где было как-то неловко срывать малину, через речку, опять вверх, лесом, опять к речке, к Pont des Vaches¹⁷, и дальше, сквозь сосняк, и по Chemin du Pendu¹⁸, – родные, не режущие их русского слуха прозвания, придуманные еще тогда, когда деды были детьми. И вдруг, среди этой безгласной прогулки, которую две мысли проделывали, пользуясь по правилам игры мерой человеческого шага (хотя в один миг могли бы облететь свои владения), оба останавливались и говорили, где

¹⁷ Коровий мост (фр.).

¹⁸ Дорога повешенного (фр.).

кто находится, и когда оказывалось, как это бывало часто, что ни один не обогнал другого, остановившись в том же перелеске, – у матери и сына вспыхивала одна и та же улыбка сквозь общую слезу.

Очень скоро они опять вошли в свой внутренний ритм общения, ибо мало было нового, чего бы они уже не знали из писем. Она дорассказала ему о недавней свадьбе Тани, которая теперь, с незнакомым Федору мужем, ладным, спокойным, очень вежливым и ничем не замечательным господином, «работающим в области радио», уехала до января в Бельгию, и что когда вернутся, то она поселится с ними на новой квартирке, в огромном доме у одной из парижских застав: рада была выехать из маленькой, с крутой темной лестницей, гостиницы, где до того жила с Таней в крохотной, но многоугольной комнате, целиком поглощаемой зеркалом и посещаемой разнокалиберными клопами – от прозрачно-розовых малюток до коричневых, дубленых толстяков, – жившими семьей то за стенным календарем с левитановским видом, то поближе к делу, за пазухой рваных обоев, прямо над двуспальной кроватью; но, радуясь новоселью, она и опасалась его: зять не пришелся ей по душе, и было что-то притворное в Танином бодром, показном счастье, – «ну, понимаешь, он не совсем нашего круга», – как-то, сжав челюсти и глядя вниз, выговорила она, – но это было не все, да, впрочем, Федор уже знал о том другом человеке, которого любила Таня, который не любил ее.

Они довольно много выходили, Елизавета Павловна, как всегда, будто искала чего-то, быстро обводя мир летучим взглядом переливчатых глаз. Немецкий праздничек выдался дождливым, панели от луж казались дырявыми, в окнах тупо горели огни елок, кое-где на углах рекламный рождественский дед в красном зипуне, с голодными глазами, раздавал объявления. В витринах универсального магазина какой-то мерзавец придумал выставить истуканы лыжников, на бертолетовом снегу, под Вифлеемской звездой. Как-то видели скромное коммунистическое шествие, – по слякоти, с мокрыми флагами, – все больше подбитые жизнью, горбатые, да хромые, да кволые, много некрасивых женщин и несколько солидных мещан. Отправились посмотреть на дом, на квартиру, где втроем два года прожили, но швейцар уже был другой, прежний хозяин умер, в знакомых окнах были чужие занавески, и как-то ничего нельзя было сердцем узнать. Побывали в кинематографе, где давалась русская фильма, причем с особым шиком были поданы виноградины пота, катящиеся по блестящим лицам фабричных, – а фабрикант все курил сигару. И конечно, он ее повел к Александре Яковлевне.

Знакомство не совсем удалось. Чернышевская встретила гостью со скорбной ласковостью, явно показывая, что опыт горя давно и крепко связывает их; а Елизавету Павловну больше всего интересовало, как та относится к стихам Федора и почему никто не пишет о них. «Можно вас поцеловать?» – спросила Чернышевская на прощание, уже привставая на цыпочки, – была на голову ниже Елизаветы Павловны, которая и склонилась к ней с какой-то невинной и радостной улыбкой, совершенно уничтожавшей смысл объятия. «Ничего, надо терпеть, – сказала Александра Яковлевна, выпуская их на лестницу и прикрывая подбородок краем пухового платка, в который куталась. – Надо терпеть, – я так научилась терпеть, что могла бы давать уроки терпения, но я думаю, вы тоже хорошо прошли эту школу».

«Знаешь, – сказала Елизавета Павловна, осторожно-легко сходя с лестницы и не оборачивая опущенной головы к сыну, – я, кажется, просто куплю гильзы и табак, а то так выходит дороговатенько», – и тотчас добавила тем же голосом: «Господи, как ее жалко». И точно, нельзя было Александру Яковлевну не пожалеть. Ее муж вот уже четвертый месяц содержался в приюте для ослабевших душой, в «желтоватом доме», как он сам игриво выражался в минуты просвета. Еще в октябре Федор Константинович как-то и посетил его там. В разумно обставленной палате сидел пополневший, розовый, отлично выбритый и совершенно сумасшедший Александр Яковлевич, в резиновых туфлях и непромокаемом плаще с куколом. «Как, разве вы умерли?» – было первое, что он спросил – скорее недовольно, чем удивленно. Состоя «председателем общества борьбы с потусторонним», он все изобретал различные средства для непро-

пускания призраков (врач, применяя новую систему «логического потворства», не препятствовал этому) и теперь, исходя, вероятно, из другой ее непроводности, испытывал резину, но, по видимому, результаты до сих пор получались скорее отрицательные, потому что когда Федор Константинович хотел было взять для себя стул, стоявший в сторонке, Чернышевский раздраженно сказал: «Оставьте, вы же отлично видите, что там уже сидят двое», – и это «двое», и шуршащий, всплескивающий при каждом его движении плащ, и бессловесное присутствие служителя, точно это было свидание в тюрьме, и весь разговор больного показались Федору Константиновичу невыносимо карикатурным огрублением того сложного, прозрачного, еще благородного, хотя и полубезумного, состояния души, в котором так недавно Александр Яковлевич общался с утраченным сыном. Тем ядрено-балагурным тоном, который он прежде приберегал для шуток – а теперь говорил всерьез, – он стал пространно сетовать, все почему-то по-немецки, на то, что люди-де тратятся на выдумывание зенитных орудий и воздушных отрав, а не заботятся вовсе о ведении другой, в миллион раз более важной борьбы. У Федора Константиновича была на окате виска запекшаяся ссадина – утром стукнулся о ребро парового отопления, второпях доставая из-под него закатившийся колпачок от пасты. Вдруг оборвав речь, Александр Яковлевич брезгливо и беспокойно указал пальцем на его висок. «Was haben Sie da?»¹⁹ – спросил он, болезненно сморщась, – а затем нехорошо усмехнулся и, все больше сердясь и волнуясь, начал говорить, что его не проведешь, – сразу признал, мол, свежего самоубийцу. Служитель подошел к Федору Константиновичу и попросил его удалиться. И, идя через могильно-роскошный сад, мимо жирных клумб, где в блаженном упоении цвели басисто-багряные георгины, по направлению к скамейке, на которой его ждала Чернышевская, никогда не входившая к мужу, но целые дни проводившая в непосредственной близости от его жилья, озабоченная, бодрая, всегда с пакетами, – идя по этому пестрому гравию между миртовых, похожих на мебель, кустов и принимая встречных посетителей за параноиков, Федор Константинович тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзенного надеждой горя, – и лишь гораздо позднее он понял все изящество короллария и всю безупречную композиционную стройность, с которой включалось в его жизнь это побочное звучание.

За три дня до отъезда матери, в большом, хорошо знакомом русским берлинцам зале, принадлежащем обществу зубных врачей, судя по портретам маститых дантистов, глядящих со стен, состоялся открытый литературный вечер, в котором участвовал и Федор Константинович. Народу набралось мало, было холодно, у дверей покуривали всё те же примелькавшиеся представители местной русской интеллигенции, – и, как всегда, Федор Константинович, увидев то или иное знакомое, симпатичное лицо, устремлялся к нему с искренним удовольствием, сменявшимся скукой после первого разгона беседы. К Елизавете Павловне присоединилась в первом ряду Чернышевская; и по тому, как мать изредка поворачивала то туда, то сюда голову, поправляя сзади прическу, Федор, витавший по залу, заключил, что ей малоинтересно общество соседки. Наконец начали. Сперва читал писатель с именем, в свое время печатавшийся во всех русских журналах, седой, бритый, чем-то похожий на удода старик, со слишком добрыми для литературы глазами; он прочел толково-бытовым говорком повесть из петербургской жизни накануне революции, с героиней, нюхавшей эфир, шикарными шпионами, шампанским, Распутиным и апокалиптически-апоплексическими закатами над Невой. После него некто Крон, пишущий под псевдонимом Ростислав Странный, порадовал нас длинным рассказом о романтическом приключении в городе стооком, под небесами чуждыми: ради красоты, эпитеты были поставлены позади существительных, глаголы тоже куда-то улетели, и почему-то раз десять повторялось слово «сторожко» («она сторожко улыбку роняла», «зацветали каштаны сторожко»). После перерыва густо пошел поэт: высокий юноша с пуговичным

¹⁹ Что у вас там? (нем.)

лицом, другой, низенький, но с большим носом, барышня, пожилой в пенснэ, еще барышня, еще молодой, наконец – Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в темном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки и так изумительно было, что вот, из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеобразное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были непритворны. Последним выступил Годунов-Чердынцев. Он прочел из сочиненных за лето стихотворений те, которые Елизавета Павловна так любила, – русское:

Березы желтые немеют в небе синем... —

и берлинское, начинающееся строфой:

Здесь все так плоско, так непрочное,
так плохо сделана луна,
хотя из Гамбурга нарочно
она сюда привезена... —

и то, которое больше всего ее трогало, хотя она как-то не связывала его с памятью молодой женщины, давно умершей, которую Федор в шестнадцать лет любил:

Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь – вон ласточку ту?

И ты отвечала: еще бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету...
До завтра, навеки, до гроба, —
однажды, на старом мосту...

Но было уже поздно, многие продвигались к выходу, какая-то дама одевалась спиной к эстраде, ему аплодировали жидко... Чернела на улице сырая ночь, с бешеным ветром: никогда, никогда не доберемся домой. Но все-таки трамвай пришел, и, повисая в проходе на ремне, над молчаливо сидящей у окна матерью, Федор Константинович с тяжелым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах-щелях, об утечке поэзии, и в то же время с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением уже искал создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе.

Накануне ее отъезда они вдвоем поздно засиделись в его комнате, она в кресле, легко и ловко (а ведь прежде вовсе не умела) штопала и подшивала его бедные вещи, а он, на диване, грызя ногти, читал толстую, потрепанную книгу; раньше, в юности, пропускал некоторые страницы, – «Анджело», «Путешествие в Арзрум», – но последнее время именно в них находил особенное наслаждение: только что попались слова: «Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой», как вдруг его что-то сильно и сладко кольнуло. Еще не понимая, он отложил книгу и слепыми пальцами полез в картонку с набитыми папирусами. В ту же минуту мать, не поднимая головы, сказала: «Что я сейчас

вспомнила! Смешные двустушия о бабочках, которые ты с ним вместе сочинял, когда гуляли, – помнишь: „Надет у fraхіні под шубой фрак синий“». – «Да, – ответил Федор, – некоторые были прямо эпические: „То не лист, дар Борея, то сидит arborea“». (Что это было! Самый первый экземпляр отец только что привез из путешествия, найдя его во время переднего пути по Сибири, – еще даже не успел описать, – а в первый же день по приезде, в лешинском парке, в двух шагах от дома, вовсе не думая о бабочках, гуляя с женой, с детьми, бросая теннисный мяч фокстерьерам, наслаждаясь возвращением, нежной погодой, здоровьем и веселостью семьи, но бессознательно, опытным взглядом ловца замечая всякое попадавшееся на пути насекомое, он внезапно указал Федору концом трости на пухленького, рыжеватого, с волнистым вырезом крыльев, шелкопряда из рода листоподобных, спавшего на стебельке, под кустом; хотел было пройти мимо, – в этом роде виды друг на друга похожи, – но вдруг сам присел, наморщил лоб, осмотрел находку и вдруг сказал ярким голосом: «Well, I'm damned!»²⁰ Стоило так далеко таскаться». – «Я тебе всегда говорила», – смеясь вставила мать. Мохнатое, крошечное чудовище в его руке было как раз привезенная им новинка, – и где, в Петербургской губернии, фауна которой так хорошо исследована! Но, как часто бывает, разыгравшаяся сила совпадения на этом не остановилась, ее хватило еще на один перегон, – ибо через несколько дней выяснилось, что эта новая бабочка только что описана, по петербургским же экземплярам, одним из коллег отца, – и Федор всю ночь проплакал: опередили!)

²⁰ Будь я проклят! (англ.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.